



**Виктор Васильевич Брюховецкий** родился в 1945 году в городе Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения. Служил в Советской Армии, работал в Российском центре «Прикладная химия». Автор 12 поэтических сборников. Лауреат Международной Пушкинской премии (Нью-Йорк), премий журналов «Нева», «Москва», «Наш современник», всероссийской литературной премии им. А. Прокофьева, им. Р. Рождественского. Член Союза писателей России. Живет в поселке Кузьмолово Ленинградской области.

**Виктор Брюховецкий**

## НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОЧИ

*Повесть*

*Долго ли, коротко ли, но когда я прошел семьдесят ли, а впереди была все та же неизвестность, я подумал: что ж это я иду и иду, надо бы остановиться и оглянуться.*

*Только я уже знаю, что оглядываться нельзя — и об этом заповедано, и то, что из этого получиться может, тоже рассказано. Ну и пусть, подумал я снова, уж если ничего от меня не останется, то пусть хотя бы щепоть соли.*

1

**Я** родился и вырос в городе Алейске Алтайского края. Местечко, где я рос, называется Малая Панюшова.

*Вообще-то, если правильно — в смысле, по-советски, — то говорить надо Малопанюшево, но я так не могу, это «шево» мой рот как бы дратвой зашивает, и я везде пишу Малая Панюшова. А еще есть Большая Панюшова или, если правильно — по-советски, опять же, — то Большепанюшево. Та же супонь, только с другого хомута. А недавно по этому вопросу, уже почти спорному, я забрел в Википедию, забил в поисковике «Панюшово» и нашел. Да! Больше-Панюшово*

появилось на Алтае над рекой Алей вблизи Красного Яра аж в 1710 году, и после буквы «Ш» писалось «О», и называлось это поселение Яровское. А еще позднее Постановлением Сибревкома от 27.05.1924 года был организован Алейский район, в состав которого входила Большепанюшовская волость. И опять звучит буква «О». Потом пришли очень умные люди и «О» переделали в «Е». А я эту «О» кровью чувствую. Как мне быть? А просто! Как напишу, так для меня и будет. Кому нравится «Е», тот пусть читает мое «О» как свое «Е», а я буду и писать, и читать «О». Малая Панюшова! Мне кажется, что я это делаю еще и потому, что очень люблю мою Малую Панюшову — и когда я пишу ее в два слова, то как будто говорю: «Ваше Величество!»

Прости меня, дорогой читатель, за мое твердолобие, но я поэт, а для поэта в голосовом речении каждый звук важен. Здесь комфортность необходима. Если ты про себя или вслух (на публике, скажем) читаешь свои слова и чувствуешь дискомфорт, то что-то надо со словами делать. Может, просто местами поменять, а может, и отказать от них. Только я от родины отказываться не хочу.

Ладно. С Богом...

Малая моя Панюшова расположена на гриве, что тянется по левому берегу вдоль реки Алей. Сам город, который Алейск, отстоит от реки дальше, метрах в пятистах от нашей гривы. Перемычка между Малой Панюшовой и городом солончаковая и такая грязная, что мне и сейчас пройти по ней, даже мысленно, тошно. Тошно-то тошно, но это моя родина, и солонцы я люблю — и до сих пор помню, как они пахнут. Пахнут они солонато. Вообще мне с местом рождения и взросления очень повезло. Я жил и рос одновременно и в городе, и в селе. Спустился с ворожбитовского бугра — вот он, Алей. Рыбачь, купайся, зори стрижей, паси коров. Речку переплыл, а там — луга, озера, опять же — рыба, сети, утки дикие, гнезда птичьи, табуны скота. Село. Все это потом в стихи мои войдет, да так ладно, что когда перечитываю, то будто заново все проживаю. А солонцы перейдешь — город. Детские садики... Как мне хотелось ходить в детский садик. Там же игрушки какие! Я эти игрушки через забор видел, в щелку. Сейчас у меня много чего есть — квартира хорошая, машина хорошая, дача. Но тех игрушек все равно у меня не было и уже никогда не будет. Где-то я такую мысль грустную уже читал. А еще в городе продавалось мороженое. В бумажных стаканчиках с плоской палочкой. Такими палочками нам в школе врачи в горла лазили, высматривали болезни всякие. Денег у нас, у пацанов, на мороженое не было, но можно было найти пустую бутылку. Из-под водки или из-под сидра. Сдашь бутылку, двенадцать копеек получишь — и покупай мороженое! А еще в городе был вокзал. Окурков там прорва. Всяких! Но окурки — это потом. Я еще пока маленький. Совсем...

Хатка наша саманная, в мой рост в землю врыта. Для тепла. Пол земляной. Зимой соломой застлан, а летом — полынками, из которых веники вяжут. Полынки эти пахнут хорошо и блох изгоняют. К окну подойду — куриные ноги вижу, куры по траве ходят прямо на уровне моего лица. Мне снизу вверх даже попы куриные видно, даже видно, как кашки куриные из поп куриных выскакивают. Я смотрю на это все и пока не понимаю, что я уже познаю жизнь. Ту самую, через которую мне шагать еще и шагать...

- Раннее утро. Лето. Мне года три-четыре. Просыпаюсь и сразу в крик.  
— Мам! Я есть хочу!  
— погоди, не шуми. рано еще, дай корову накормить.  
— Ага! Корове — так не рано, а мне так рано...

Выхожу на улицу, а по улице уже коровы, которые отдоились, начинают идти. Идут они вниз, к речке Горевке, там и будут на луговине весь день пастись. Идут они молча, глухо ударяя копытами об утреннюю землю. Мама Елку покормила, подоила и в стадо подпускает. Все это замыкает пастух. Бич у него длинный-предлинный, через правое плечо перекинут и по земле волочится. Через другое плечо сумка повешена. В сумке хлеб и бутылка молока. Это я знаю. Все, чьих коров он пасет, дают ему по очереди и хлеб, и молоко. Мама тоже дает. Улица пахнет молоком, теплым коровьим духом, родиной... Я еще этого слова не понимаю, но уже впитываю его вместе с молочным духом, уличной пылью, сухим перестуком коровьих рогов... Каждый полдень пастух пригоняет стадо на старицу, что от улицы Омской к Алею протянулась. Там коровы самую жару пережидают. Туда наши мамы всякий раз в полдень идут с ведрами доить своих кормилиц. Место это называется стойло. Иногда на это стойло мама и меня берет с собой. Там коровы пьют воду, пережевывают траву, которую уже один раз съели, и ждут наших мам с ведрами. Им доиться хочется, они ведь уже наелись, молока в себе наделали, и оно теперь через вымя наружу просится, как удержишь?..

Улица моя называется Тарская. А номер хаты по старой нумерации — 48. Теперь этой хаты нет: на ее месте был построен дом, который принадлежал моей сестре Нине, но теперь и его нет. Пустырь...

А чтобы вам ясней было и в пространстве хорошо улеглось, то планировка такая: Алей, старица, улица Омская, улица Заливная, улица Тарская, потом маленькая-маленькая, сбоку прилепленная, улочка Гончарная, солонцы грязные и уже Алейск. И все это параллельно Алею, только старица поперек.

Господи! Верни меня туда на один денечек...

### Самануха

Это было — не помню, когда, но давно,  
Так давно, что меня еще не было в мире...  
Пели майские ветры на утренней лире,  
И во влажную землю ложилось зерно.  
Там под вечер с острогами рыбу лучили,  
Там варили уху на прибрежных холмах,  
Там сибирскую язву молитвой лечили  
И лучину палили в притихших домах.  
Там склонялись над прялками жены и девы,  
Холст белили на зорях в поту и росе,  
Там сложили такие большие напевы —  
Запоют — и хлеба загрузят в полосу...  
Сумасшедшая доля!  
Я просто не верю...  
Только есть самануха с окном на зарю!  
Я в нее захожу и, не хлопая дверью,  
Прислоняюсь к двери — и смотрю, и смотрю.

Потолок — до бровей, а ведь было — рукою  
Не достать,  
А лежанка — ни сесть и ни лечь,  
В потемневшем стекле — небо вровень с травой  
И по черную грудь в землю вросшая печь.  
Но ведь в это окошко мне звезды светили!  
Но ведь эта лежанка спасала меня,  
Когда снежные бури нас так заносили,  
Что наткнись на трубу — и привяжешь коня...  
Это было, конечно же, очень давно,  
Так давно, что меня еще не было в мире.  
Пели майские ветры на утренней лире,  
И во влажную землю стекало зерно.  
А за тысячи верст, среди пуль и огня,  
В эти дни, крепко веря в свое назначенье,  
Мой отец под Смоленском ходил в наступленье:  
Защищал эту хату — и, значит, меня.

## 2

### Тарская улица

А у нас на Тарской улице  
Воробьи да лопухи.  
Тополя стоят, сутулятся  
И летят из-под стрехи  
В ярком солнечном кружении  
За Алей, за ковыли.  
Пчелы — в желтом опушении,  
В черном — толстые шмели.  
Эту улочку горбатую  
Мне хранить до края лет!  
Окна с выгоревшею ватой,  
Старых бревен серый цвет.  
А какие были рыжие  
Кони!  
С норовом зверей!  
Да и люди тоже... Бывшие...  
Из советских лагерей.  
Здесь, у Кольки Подхорунжего,  
Средь хлама на чердаке  
Раскопали мы оружие  
С темной кровью на штыке;  
Шашку ломаную ржавую  
Вместе с горечью ветров —  
Волей пахнущую, славою,  
Гарью дедовских костров...  
Этим духом и дышали мы,  
И, вдыхая той беды,  
Уходили в жизнь не шалыми,  
Хоть и горше лебеды.

Улица Тарская кривая, и если из конца в конец смотреть, то простор не открывается. Домики, хатки, домики, хатки... А как только половину улицы пройдешь со стороны маслозавода, то уже и луг видно. Но мне

туда еще нельзя. Это такая даль, это почти как до Чарыша или даже до Алтайских гор, которые бывает видно только после сильного дождя. После дождя воздух чистый, все-все видно. Горы синие, в дымке, зубчатые и далекие-далекие. Такие далекие и такие таинственные, что знобко делается. Но видно их редко, потому что воздух мутный. Чистый, но мутный.

А поскольку все далекое еще не для меня, то я проживаю свою жизнь около хаты. Здесь и утки подсадные кряковые, тулочками их звали, и куры, и, главное, трава с калачиками. Как эта трава называется, до сих пор не знаю, но росли на этой траве такие бляшки съедобные — калачики. Название местное детское. Мы эти калачики ели. Мы все ели. Мы — это я, Колька Детков и Юрка Добровольский. Друганы... А еще прямо за огородами рос кандык. Слово это редкое, я думал, что оно самодельное и досталось нам от прошлых, уже ушедших. Может быть, даже от гуннов. Но нет! Читаю поэму какого-то алтайского поэта, уже не помню какого, и там нахожу это слово. Кандык. Типа «кирдык», но только это травка такая в две былинки с желтым цветком, очень похожим на куриную слепоту. Сама травка съедобная, а корешок у этой травки вообще сказочный, по вкусу напоминает кедровый орешек, тоже маленький и тоже беленький. Травку эту мы и ели, подкапывали ножичками, чтоб с корешком, чистили, складывали в пучки и жевали вместе с былинками и цветками.

Самануха наша из двух половинок слеплена. На две семьи. Наша половинка на улицу смотрит, другая — на солонцы, на город. На солонцы, на город, но через огород. Огород — это еще чернозем, еще грива. Солонцы ниже и подальше, там грязь белая. На этот огород, на эту грязь почти библейскую, на Алейск вторая половинка и смотрит. В нашей половинке мы — мама, папа, сестра Нина, которая меня на одиннадцать лет старше, и я, а в другой половинке — дед Маренок с бабкой. Я их очень плохо помню. Совсем никак. Жили они незаметно. Помню, что дед был очень высокий и прямой, как оглобля, только кверху. Бабку не помню вообще. Но она была. Слышу однажды, как отец говорит деду:

— Если придут, в стенку стукни, хоть знать будем...

Кто придет-то, бабай, что ли?

Год на дворе примерно 1950-ый...

### 3

Брат у меня офицер. Лейтенант — или старший лейтенант... Неважно. Погоны — золотые! Он воевал и ранен был. Не шибко.

Я его очень люблю и жду с нетерпением, когда он приедет в отпуск. Вообще, он наша семейная гордость. Фронтовик, раненый, но служит, и в отпуск приезжает в форме. У него, я так думаю, даже пистолет есть. Только я пистолет не видел, но друзей уверял — есть. А как же!

Отпуск он брал всегда в августе, к открытию охоты. Охотников на нашем краю — раз, два и обчелся. Дядя Леша Саликов, который без руки, дядя Ваня Мещеряков, который папин лучший друг, и отец мой. Остальные не охотники. А которые охотники были еще раньше, до меня, те с войны не вернулись.

Охотники стреляли уток! Иди за Алей, ходи по озерам и стреляй, сколько хочешь...

Август. Брат с женой приезжают в отпуск. Лето, теплынь, я гоняю

по улице в одной рубашке. Все у меня нараспашку, все у меня наружу, подходи и разглядывай.

— Ай-яй-яй! — говорит жена брата. Она учительница. Звать ее Александра Степановна. Я зову ее просто — Шура. Мама моя тоже Шура, только Яковлевна.

Ай-яй-яй, значит...

Идут они с братом моим в город и покупают мне в раймаге трусы в полоску, моют меня, чистят и в трусы наряжают. «Вот так и гуляй, большой уже».

Потом Шура мне, восемнадцатилетнему, рассказывает:

— Выхожу из хаты, а тебя нигде нет, только трусы на плетне висят...

#### 4

Август, сентябрь и октябрь — для меня лучшее время. Остальные месяцы тоже ничего, но эти...

Август... Он весь шепутной, шустрый как бы. Еще с июля шустрить начинает. Суслики в свои норы пшенички натаскали и уже в спячку залегли, и прочие все готовятся к уборке урожая. Гривы от хлебов желтые, утки дикие над хатой летают, ежевика созрела, подсолнухи восковые! Огурцов всяких, помидоров... Рви и ешь, рви и ешь!

Сентябрь чище. Сентябрь выше и спокойней. И сытней. Убирают картошку, подрезают последние подсолнухи, солят в бочках огурцы, помидоры. Ботву жгут. Небо синее, паутина плывет волнами. Это нам от природы еще одно лето в подарок. Бабье! Вроде как вторая молодость. Машины зерно с полей везут, воют, торопятся до дождей управиться. Утки касатые по утрам летят с хлебных полос прямо на воду. В зобах у них зерно, оно печет, и воды им глотнуть нужно край. А тут охотники... За Алеем постреливают вовсю и давно, с начала августа. А папа же у меня охотник! Я объедаюсь. Дикая утка, хватившая в полосе зерна, да утренним холодком тронутая, да приготовленная мамой в русской печке... Пишу — и грустно.

Октябрь... В октябре дождить начинается. По утрам холодно. Нет-нет и ледком брызнет. На полях хлеб в валках лежит, утки дикие меж валков ходят, как по базару, колоски шелушат. Не управляется техника. Машины грузнут в алтайском черноземе, буксуют. Погода станет на день другой, комбайны валки поднимут, а под ними уже зелены. Осыпалась пшеничка, не дождалась хозяина и проросла. Эти битвы за урожай я видел ежегодно, пока рос. Чего-то в этих боях людям не хватало. Все битвы были ими проиграны. Отец говорил, что дороги плохие. В сухую погоду они как асфальт: ломом не взять — так укатаны. Брызнет дождь, и машины уходят в кюветы. Как по маслу. Чернозем, он же маслянист. Хоть на булку мажь!

Местные утки сбиваются в табуны. Подходит северная. Гусь летит. Отцу лафа! И мне, конечно. Я еще мал, он меня с собой не берет, если только куда совсем близко, но сколько у меня радости от охотничьих трофеев! Отец приезжает с охоты, и наша маленькая хатка заваливается дичью: зайцы, гуси, утки. Все это цветное. Утки разные — чирки-свистунки, острохвостые (шилохвость), чернети красноголовые, касатые (кряковые), соксуны широконосые, серые, белобокие гоголи, лысухи... Вылинявшие, чистые и пахнут необыкновенно, просто — боже мой! А какие гуси здоровые! Я все это трогаю, перекладываю — по сортам, по цвету. Помню:

на обеденном столе лежат три щуки, по метру, наверно, во весь стол. Пасти у них раскрыты. Зубов!.. Интересно бы в щучий рот руку засунуть! Я трогаю щучьи перья, нажимаю пальцем на жаберные крышки и смотрю, как они сами раскрываются, показывая малиновые жабры. А пасть щучья так и манит, так и манит. Терпел я, терпел, но хочется же — и, конечно, сунул я свою бедную руку в щучью пасть. Что я там, какую кнопку нажал? только пасть — бац! — и закрылась. Как живая! Я от неожиданности руку рванул, а зубы у щуки как бритвы и внутрь загнуты...

5

Утро. Мама с коровой возится. Я уже проснулся, не сплю, и мне скучно. Отец еще в кровати. Он в белых кальсонах и белой рубашке. Господнее исподнее... Кстати, в округе все мужики, что постарше возрастом, такое носили. Мне и на полу не холодно. Спал-то я на полу: на полынную подстилку мама стелила мне разные, из лоскутков сшитые одеяла, а уж перина у меня была персональная, по росту с небольшим запасом. Перя с диких уток было много, не только нам, но и соседям хватало. Я встаю и аккуратно лезу к отцу в постель. Лезу я, значит, к отцу в постель, затихаю и млею. Тепло, папа рядом, что еще пацану надо? Только лежать смиренно не получается, я начинаю ворочаться и машинально сую руку под подушку. А там — кисет, бумага, спички. О! Я зажимаю в руке коробок со спичками (отец дремлет) и тихой сапой, чтобы спички не гремели, выхожу из хаты. Солнце только-только поднимается над большепанюшовским *илбаном*, чуток правее.

Слово это — илбан — я до сих пор не могу найти ни в одном словаре, но оно очень красивое, и мне нравится. Илбанами у нас называют одинокие степные курганы и еще гривы, те самые гривы, что к реке спускаются. К Алею, к Горевке или к Чарышу. Гривы — потому что конские напоминают, волнами идут и как бы вниз с бугра свешиваются к реке ли, к лугу. Большепанюшовские илбаны гривами спускаются с одной стороны к Горевке, с другой — к Алею.

Солнце на Алтае особое, вот только еще поднимается, а уже греет. Спички руку жгут! Что-то надо делать, для чего-то я их взял? Вообще, хорошо бы развести костер. Развести и погреться! Мысль зудит в одном направлении — костер, костер, а за хатой, в самом начале огорода, два стога рядом стоят. Стог сена и стог соломы. Сено для коровы Елки, солома для хозяйства — на подстилки, на растопку, да мало ли... Вот тут я и костер и разведу!

Развел я его в стогу соломы. В нем уже была конура выбрана. Солому брали на нужды не снаружи стога, а изнутри. Металлический острый штырь с бородкой, похожей на тот, что у рыболовного крючка, только гораздо крупнее, втыкается с силой в тело стога и выдергивается. Штырь выдергивается и бородкой выносит пучок соломы. Раз за разом, раз за разом — и соломы надергаешь. Руками тоже можно, но без рук останешься, стог сметан плотно. Я и залез в середину стога. Зимой, кстати, дырку в эту конуру тряпкой завешивают, чтобы снегу не наметало. Конура высокая, головой до свода не достаю. Соломы под ногами сколько хочешь. Сейчас погреюсь...

Пламя прокололо стог снизу вверх навyleт! Ох... Я бросаю спички в грядку с огурцами и бегу за огороды прятаться в полынках, в бурьяне. Бегу и слышу, как бабка Быстрова орет благим матом:

— Василий, горюшь!..

Пламя с соломы перекинулось на сено, а рядом три кладки кизяков и сарайка для кур. Приехала пожарная машина, шланги раскрутила, но тушить было уже нечего. Полчаса не полыхало. Остались мы без сена, без соломы, без кизяков и без сарая.

А было мне лет пять-шесть, и событие это я помню очень хорошо, во всех картинках, даже помню, как пахло горелым после пожара...

Отец пальцем не тронул: «мал еще».

## 6

Когда стог полыхнул, я спички в огурцах запрятал, в ботве, а сам убежал за огороды, где полынь погуще. Лежу, значит, я в этих бурьянах и поглядываю: как там дела, когда за меня возьмутся? Порку я уже и нутром, и шкурой чувал. К вечеру улица успокоилась, пожарные уехали, порка меня обошла, я был «героем», все только обо мне и говорили.

Герой героем, а спички-то в огурцах! Лежат никем не найденные. Они лежат, а мне покоя нет. Отсыреют ведь за ночь, а хуже того — начнут поливать огурцы и найдут их! Как же я останусь без спичек? А с другой стороны, я уже свое совершил, разорил родителей, вся улица знает, что я поджигатель. Однако нет, что-то во мне скребет, чертик какой-то. Спички надо непременно перепрятать! Сунул я коробок под рубашку, иду по улице, а навстречу Колька Дягтерев идет. Здоровый балбес, лет пятнадцать!

— Куда бежишь, ширмач? — «Ширмач» по-нашему — разбойник.

Я показываю спички и говорю:

— Пойду Архиповых подожгу...

Кто меня за язык тянул. Никого я поджигать не собирался, я только спички хотел перепрятать и все. Но язык мой... Такой вражина! Колька меня, конечно, — за руку и вместе со спичками к отцу моему привел. Это он выслуживался, он всегда хотел, чтобы мой отец его на рыбалки брал, кашеварить там, рыб из сетей вынимать. Выслужился!

Так я впервые познакомился с ремнем и горохом. Досталось мне очень хорошо. Рецидивист! А уж потом мне этого перепало — откуда бы гроза ни заходила, градины в мое окно влетали всегда...

А корову Елку позднее зарезали. В тот год соседи сеном выручили, кормить нечем было и у них, но помогли. Сенокосные угодья все круче и круче отходили к колхозам, и косить для себя, для домашней скотины на этих угодьях было нельзя. По канавам, по пустырям, по обрывам можно, но разве этого сена хватит на зиму. Помыкался отец года два ли, три, помыкался, а тут еще и рука немцем прострелена, не очень покосишь, и сдался. Ушла наша Елка. Много тогда скота ушло под нож. Стада уличного не стало. Не стало стада, и пастуха не стало. Но мы жили...

## 7

В конце нашей улицы начинался самый бугор, самая вершина нашей гривы, нашего илбана, на котором и располагалась моя Малая Панюшова. На этом бугре, на этом илбане (опять — илбан! Я просто очарован этим словом. Не знаю...), так вот, на этом илбане маслозавод стоял. Пока я был маленький, я думал, что завод большой, а стал подрастать, завод стал уменьшаться. Но главное не это — главное то, что на этом заводе был лед-

ник. Потом я видел, как его делали. Это огромный зарод, в натуральную зародовую величину, только внутри его не сено, а лед. Сверху все укрыто соломой, потом землей, и все лето рабочие завода кололи ломami торцовую открытую часть зарода и на носилках носили ледяные глыбы туда, где делалось масло. Масло делали, казеин, но нашим мамам этого масла не полагалось. В магазинах его не было. Казеин же нам доставался. Сушили его на марлевых противнях на заводском дворе между акаций. С этих противней мы его и воровали. И мы воровали, и воробьи. Подкараулишь свежачок, на творог еще похожий, набьешь полные карманы, и ура...

Ледник этот готовили зимой. Рабочие вскрывали зарод сверху, обнажали прошлый лед, который за лето подтаивал. Зарод проседал, и чтобы ему горбушку его верблюжью поправить, а заодно и зарод удлинить, зимой с Алея на полutorке возили кубики льда. Пилили лед пилой, кололи ломami, пешнями, грузили на машину и восполняли летние потери. Потом эту глыбищу укрывали соломой, и все лето лед был! Нам, пацанам, этот лед слаще меда. Подбежишь к наколотому льду, пока рабочих нет, схватишь кусок льда — и ты уже герой. Солнце, жарко, а у тебя лед! Соси, грызи, охлаждайся...

Лед, конечно, льдом, казеин казеином, но пропитанием нам была пахта. Это такая белая жидкость, как молоко, как молоко, а то, что от молока осталось, когда из него все хорошее, в смысле жирное, вынули. Вкус у этой пахты был не очень чтобы очень, но она была дешевая, покупали ее ведрами. Свиньям спаивали, телятам, нас поили. Кусок хлеба, кружка пахты да еще кусочек сахару, и можно жить. Мама из этой пахты делала кефир. Признаюсь без хвастовства, но такой сквашенной пахты мне больше есть не приходилось. Как она это делала, не знаю, но помню, что кефир этот хранился в двойном мешочке из белой ткани, подвешенном на гвоздик в подвале. Мешочек этот висит, ненужная влага с него стекает, кефир все густеет, густеет, и когда уже все, мама сливает содержимое в кастрюлю — и не просто сливает, а ложкой выскребает, такой этот кефир густой. Ну а то, что это было вкусно, я говорил. Еще к этому добавлю, что в подвале все лето было очень холодно. Там была такая небольшая загородка, которую по весне, в марте, кажется, или в начале апреля мама с папой набивали снегом — подтаявшим, липким уже. Зимним снегом нельзя, зимний пушистый, объемный, а весенним — в самый раз: он плотный, тяжелый, водой набухший. Этого холодильника нам хватало на все лето. На этом снеговом холодильнике мама рыбу, что папа сетями ловил, хранила. Что-то из пойманной рыбы продавала сразу, а что-то и для себя оставляла.

Я уже не только около дома гуляю, я уже гуляю везде, и на заводе тоже. Казеин с большими мальчишками воруя, лед.

Однажды к вечеру бабка Зюкова к нам пришла. Жила она напротив маслозаводского магазина на Омской улице. Муж ее, дед — «Зюк» по-нашему, — каждую весну на пасхальных днях около своего дома устраивал игрища с катанием крашенных яиц по расчищенному на земле кругу. Интересное дело, но речь не о том. Я знаю, зачем бабка пришла, и жду выволочки. Слышу, как она маме моей говорит:

— Где ты, Шура, недомерка такого нашла?

— Чо так?

— Да как же — несу пахту на коромысле, уже много прошла, к дому подхожу — и откуда он взялся? Подбежал и кругляш конский мне в вед-

ро бросил. Я на него — ах ты сука такая! А он — сука? да? — и во второе ведро...

Мама молчит. Бабка ушла. Мне не то чтобы стыдно — мне и нехорошо, и обидно, и просто плохо. И перед мамой, и перед собой, и перед бабкой. Зачем я это сделал? Бабка мне не враг. Откуда такое поганое озорство?.. Вот сейчас скажи, что отец меня напрасно ремнем порол? Не скажу. Родитель у меня был правильный — и порол меня всегда за дело.

## 8

Смолоду, мама рассказывала, отец сильно водкой увлекался. Страсть к этому зелью была у него просто неумемная. И водку любил, и глаз на других женщин скашивал. Ходок был еще тот. Что случилось, в чем причина, но в 28 лет его словно святой водой умыли. Бросил все — и водку пить, и дверьми ошибаться. Всегда был трезв и телом чист. Гостей не чурался и сам в гости ходил, но за край уже не падал. Я его за всю свою жизнь пьяным никогда не видел. Ну если под уху стопку красенького на рыбалке и позволял, так это не считалось. За баловство сходило. За компанию же...

Помню, пришли гости. Что за гости, что за веселье, не знаю, но брага лилась. Мама эту брагу черпала ковшом из фляги молочной и разливала ее по стаканам. Разливала и разливала. Отец глоток выпил, такая его норма была, и запел песню свою любимую:

И так пропадет вся юность моя,  
Пройдут мои лучшие годы...

Гости уже на улицу потянулись — в хате плясать негде, тесно, — а я в хате кручусь. Кручусь, кручусь, а сам думаю: как это, пьяным быть? Что же за диво такое? С чего это всем весело стало? На улице пляска, а я залез под стол, притих за скатертью, приладился к фляге и выдул втихую полковша. Бражка сладкая. Вылез из-под стола, послушал сам себя и оценил — нет, не пьянею, не весело мне. Надо бы еще. Вторые полковша выпил и больше ничего не помню...

## 9

Мед пчелиный в нашем доме бывал. Люди в ту пору пасеки держали и медком приторговывали, и мед был нынешнему не чета. Пасечники до сахарной подпитки еще не дошли, мед не «женили», и тот мед если в банке до весны оставался, то густел, хоть ножом режь. А как пах! В рот возьмешь — полный рот всяких цветочных запахов. Сенокос! Сплошное лето!

Я вот постоянно думаю: что же мы с нашей родиной сделали? Какие души надо иметь, чтобы так ее убить. А как быстро! Между тем днем и этим шестьдесят лет прошло... Шестьдесят! Мизер. А страна на карачках стоит, вся в воровстве и лукавстве погрязла. Тысячу лет ходила прямо, ни шею, ни спину не гнула, а тут так повело, хоть к бабке веди. Найти бы эту бабку...

Но вернемся к меду.

В моем понимании, в тогдашнем, мед и пчела — это брат с сестрой. Как только пчелу увижу, сразу о меде думаю, вкусный же! Огород наш имел восемь соток, маловато, конечно, но хватало. Все сажали: и картош-

ку, и моркошку, подвал от этого не ломился, но запас был, и до весны, до первых грачей, до первой рыбы дотягивали.

Тыквы зацвели. Цветы большие, желтые... Пчел! А пчела — это же мед. Пошел я в эти тыквы с цветами разбираться, как это там пчелы мед достают. Присмотрелся к цветку, а в нем — грибок желтенький, у корня впадинка, в эту впадинку пчелы и ныряют. Наверно, там им сладко, наверно, там самый мед! Отломил я это грибок, пососал — вкусно. Ну и пошел цветы потрошить...

Позже слышу, как мама говорит отцу:

— Что-то тыквы цветут-цветут, а завязь желтеет, отваливается...

Я скумекал, промолчал и в тыквы больше не ходил...

Кстати, о меде еще. Дед Захарий (о нем ниже будет) две фляги меду с алтайских гор нам привез для продажи. Стояли эти фляги в сенцах, и я (честное слово) к ним не прикасался. А вот сестра моя, Нина которая, прикоснулась. Была она на одиннадцать лет меня старше, ну и пошустрей — в смысле, повороватей. Пронюхала про эти фляги, добралась до них крадучись — и не просто объелась, а обожралась. До рвоты. Все подворье медом пахло. После этого мед она не терпела даже на дух до самого края...

## 10

Еще про огород, вернее, про огороды.

Я уже говорил, что саманухи — наша и деда Моренка — были слеплены вместе. Одна стена у наших саманух была общая, ну и огороды наши были рядом, плетнем перегорожены. Дедов огород был южнее, и по-над самым плетнем со своей стороны дед сажал горох. Пока я был маленький, горох меня не волновал, рос себе этот горох и рос. Но я подрастал и мимо этого яства пройти не мог. Дело в том, что горох завивался по плетню и свои гороховые лопатки — в смысле, стручки — развешивал на два огорода — и на дедов, и на наш. Дедовы стручки — это дедовы, а с нашей стороны — это, наверно, наши. Стручки стали толстеть, и я стал их шелушить. Пристроюсь к плетню, присяду пониже — и хорошо мне. Лакомлюсь однажды горошком, как вдруг меня кто-то за шею взял и головой в плетень воткнул. Крепко так воткнул! Я дернулся — ан нет, не тут-то было. Заорать бы, но молчу: за воровство надо платить. И когда меня этот «кто-то» хворостиной сек, я тоже молчал. Конечно, это был дед Моренок. Высек он меня и говорит:

— Еще раз поймаю, отцу скажу...

Отцу... О-о-о!..

Ну и все. На этом эпопея гороховая кончилась. И уже дедов горох рос сам по себе, а я сам по себе, тем более что у нас в огороде по картошке свой горох рос.

## 11

Немного из моей родословной.

Отец мой — из курских хохлов. После отмены крепостного права его дед (мой прадед) прикинул умом своим крестьянским, что да как, и со всем скарбом двинул на Алтай. Был он мужик рискованный и перед этим хаживал на Урал, где, похоже, и разжился золотишком. С этим золотишком он и прибыл на Алтай, и тут на речке Чистюньке (это между Алейском и Барнаулом в районе Топчихи) поставил кожевенный заводик. Не-

большое производство охватывало всю округу, и кожи, которые выдывались на заводе, обеспечивали местных крестьян, а семье несли благополучие. В этой среде и вырос мой дед Иван Романович, на тех же кожах формировались мозги и моего отца Василия Ивановича. Советская власть положила всему этому конец, предков моих раскулачили. Раскулачить раскулачили, но мозги не отшибли, и отец мой нет-нет и заквашивал телячьи кожи в дубовой коре. Я так понимаю, что жизнь заставляла. Тяжеленный труд... И тяжелый, и тюрьмой пах. Я помню и горбыли, на которые шкуры выкладывались, и скребки, которыми мездру сгоняли.

Все это хранилось в великой тайне, узнают власти — тюрьма. Мне было строго внушено, и язык за зубами я держал крепко, хоть и росточку был невеликого. Держать держал, но проболтался однажды. Лидка Бобровицкая, соседка, что напротив жила, махонькая такая, пришла ко мне играть. Играл я с ней, играл в разные куклы-тряпки — и заигрался. Открыл занавеску и показал ей бочку с кожами. Она ничего не поняла — бочка как бочка, а отец этот момент подсек. Лидка ушла, он мне и выдал. Сильно не бил, только один раз ремнем вдоль спины от плеча до задницы и перетянул. Бо-ольно! Главное не в этом — главное в том, что плакать не разрешалось! Я не плакал, я знал: заплачу — получу еще. Перетерпел, отделался одним перетягом, а на вопрос соседа:

— За что ж тебя, Витек, папка порол?

Я отвечал:

— За многоженство...

Соседу нравился мой ответ. Он смеялся, а я до сих пор не знаю, откуда это слово мне в рот залетело. А я еще и песенку сочинил:

Если папа утром рано  
Вешает на гвоздь ремень,  
То ребенок наш упрямый  
Будет умным целый день.

Здесь «упрямый» надо бы заменить на «дурной» или типа того, но это ж надо «рано» подвинчивать, а я не умею. Нутром чувствую, но уметь не умею. Хотя как знать. Все мы по первости чего-то не умеем. Раза два-три пересказал и забыл. Как видно, не навсегда. Вот же — вспомнил...

Внимания тогда на эту песенку не обратил никто, потому что букварь я уже пролистывал и буквы знал. Мало ли где вычитал или с улицы принес... Не до талантов было, а жаль. А с другой стороны, обратили бы внимание, похвалили бы, задурили бы мне голову стихами — и прошел бы я с распухшей от рифм головой мимо всей красоты, которая жизнью зовется. Я отвлекся... Про что там? Ага, про соседа...

Сосед этот в курсе батиных дел был и однажды принес кожи хромовые. Теперь думаю: где он их взял? Купить их негде было; стало быть — блатные кожи или ворованные. Все было ворованное — мясо, масло, сметана, сливки (маслозавод рядом, мясокомбинат тоже недалеко). Молоко, значит, несли хозяйки по оброку на маслозавод, а потом рабочие воровали сделанное из этого молока масло и сливки и несли по домам. Еще сыр воровали. Но сыр воровали уже с нового маслозавода. Головками! Килограмм по пять. А какой этот сыр был вкусный! Мягкий, ноздреватый, ешь его — и зубы поскрипывают. Такая вот арифметика. С мясом тот же фокус. Ладно, не об этом речь, хотя и об этом тоже... Разложили, значит, мужики на столе кожи, выкройки сапожные и сапоги кроить начали. А хромовые сапоги да со скрипом — это такой шик! Ну, головки выкроили,

в смысле переда, а надо еще задники, голенища... Переда — самое главное, в них вся красота, с них раскрой и начинается.

Они кроют, а я рядом, тут как тут, интересно ведь. Кожа черная, блестящая, как грачиное крыло, как чернозем, лемехом отваленный. Но самое интересное — не кожи, а как они нож точат. Наискось по оселку — вжик-вжик! Смотрю я на это точение, а сам думаю: что ж они боком-то водят, надо бы прямо по бруску. Сели перекуривать, я и решил помочь им, поточить ножик. Поставил нож перпендикулярно бруску — и лезвием туда-сюда. Мужики курят, а я точку и думаю: вот обрадуются.

Перекурили, отец ножом по коже потянул и на лезвие смотрит.

— Витьк?

— Че?

— Нож точил?

— Точил...

— Покажи, как?

Взял я нож и показываю, а сам думаю — сейчас похвалит.

Похвалил...

## 12

Помощник из меня никакой, и отец берет на рыбалку с собой Кольку — того самого, который меня со спичками к отцу привел. Кольку он берет в помощники: костерок сообразить, за корову присмотреть, ездили-то на рыбалку на корове, ну то-другое, да и вообще — душа живая. Кольке хорошо — и на озере побывает, и у костра посидит, и покашеварит, да и рыбки домой принесет.

Приехали они на Панюшовскую старицу, которая за Алеем, а это если через мост, то километров пять будет. А может, четыре. Много! Приехали, значит, расчехлились, корову наладили пастись, лодчонку на воду спустили — и поплыл мой папа сетки ставить, карасиков да линей добывать. Отец поплыл, а Колька костерок сообразил и чай сварганил. Смерклось, отец вернулся, первых карасей и линей в садок пустил. Хорошо...

Сели ужинать — в смысле, чай пить с домашними пирожками. Пьют чай, на огонь смотрят, а отец и говорит:

— Эх, Колька-Колька...

— Че, дядь Вась?

— Никудышний ты рыбак, чай-то не посолил...

Колька, конечно, расстроился, а отец пошутил — да и забыл.

С утренних сетей приплыл, опять же — рыбу пойманную в садок пустил. Хорошо...

Сели чай пить. Вот чай попьют и щербу (щерба — это по-нашему уха) начнут варить, парных карасиков есть будут, а пока — чай.

Сели к костру, хлебнул отец чаю, через губу плюнул и засмеялся:

— Эх, Колька-Колька...

## 13

Сельская жизнь вся на виду. Не спрячешься, не утаишь. Как ни таись, как ни лукавь, а петух-то на курицу запрыгивает. За ширму их не спрячешь. И гусак на гусыню лезет, и корову к быку за этим самым ведут на поводке. Все у нас на глазах, и, что главное, вопросов у нас, у детей, по этому поводу не возникало. Это ладно, это вроде как естественно,

а вот когда скотину или птицу на мясо пускают, здесь не каждому дитю и смотреть нужно. Здесь мы все разные, здесь мы уже не просто дети, а люди. Грань между жизнью и смертью четко видна. Вот жизнь, вот смерть, а между — лезвие острое, пальцем потрогать можно.

На дворе октябрь. Снежок ночью выпал. Чисто вокруг и светло. Мама собирается отрубить селезню голову. Я стою на пороге и смотрю. Мне же интересно, мне же, дурачку, это надо.

Завернула мама селезню крыло за крыло, чтоб не бился, — и к полюну. Я смотрю и думаю: какой селезень умный, вон как шею вытянул, чтобы маме рубить удобно было... Кровь брызнула. А это ж красным по белому! Я и заорал с перепугу. Может, с той поры мне и неприятен вид крови. Своей ли, чужой...

Пишу эти строчки и сцену из последней серии «Место встречи изменить нельзя» вижу. Помните, Левченко Шарапову говорит — окропим, мол, ротный, снежок-то. Окропим... Слово какое. Просто церковное! Слышу это слово и селезня того вижу и голову его отрубленную на чистом снегу. А еще кровь вижу, веером вокруг разбрызганную. Жалко...

Вот написал, перечитал и думаю: а слово «окропим» не от слова ли «кровь»?

## 14

Когда мое знакомство с буквами началось, не знаю. Остались в памяти какие-то кубики с зайчиками, с арбузами. Все это в обрывках — то ли эти кубики у меня были, то ли я их где-то у сверстников видел. У того же Юрки Добровольского, скажем? Не помню. А вот букварь помню — большой такой, цветной, с девочками в юбочках-блузочках и мальчиками в рубашках с короткими рукавчиками. Еще рамы оконные помню — или раму...

Всю зиму отец сети вяжет, а я по хате шлындаю — туда-сюда, туда-сюда... Ну сколько можно шлындать?

— Пап, пусти на улицу побегать (мы — пацаны, то есть — не говорили «гулять», говорили «бегать»).

Отец:

— Неси букварь. — И тут же дает мне задание: — Вот эту страницу, всю и без запинки.

И я жужу «мама мыла раму» и знаю: прочитаю, пустит на улицу. «Мама-рама» мне нравилось. Очень складно, как «Вовка-морковка».

К семи годам я бегло читал любой текст, хоть про Эйзенхауэра; в те годы все газеты были забиты эйзенхауэрами да даллесами. Ну и еще кукурныксами. Смешные такие картинки, все буржуи, да танки, да воины — и все пузатое, злобное и уродливое. Газета называлась «Правда», и мы ее выписывали. Отец читал всю насквозь, соседям давал, а потом они, по теплу уже, на бревнах сидя, американцам кости мыли. Я любил подслушивать. Какие люди! Кто без ноги, кто без руки, кто с пулей в голове, а один был (дядя Троша Анников) совсем слепой (потерял оба глаза на войне). Мы, пацаны, к нашим старикам попригляделись и считали, что все нормально, ничего особенного в этом нет. Калеки как калеки, а какие они еще должны быть? Калеки же... Помню, как дядю Трошу племянник его Шуран Орехов, дружок из нашей уличной ватаги, водил за тросточку по всей улице в магазин, что был на маслозаводе. Шуран впереди, дядя Троша сзади, и так неспешно, без понуканий, как одиночные кони, запряжен-

ные цугом, они двигались сначала в один конец улицы, потом обратно. Дядя Троша в магазине хлеб покупал и денатурату бутылочку. Выпивал, а как же. Одна радость и была. Говорили, что от денатурата можно ослепнуть, но ему было не страшно, он уже был слепой. Здесь все бы ничего, но эти походы на целый час, а то и на два вынимали Шурана из наших уличных игр. Мы терпели, Шуран терпел, а отец мой подшучивал:

— Ох, Шурка, и надоел же тебе твой дядька? А ты подведи его к обрыву, когда никто не видит, и скамандуй — «три каргаса!»

Я спрашиваю: «Что это за каргасы?» Отец смеется и объясняет, что это команда слепому перед препятствием. Если поводырь скамандует «один каргас!» — это значит, что надо сделать крупный шаг, «два каргаса!» — шаг шире, а уж «три!» — это прыжок! Я представляю, как дядя Троша прыгает с обрыва и летит куда-то в тартарары. Мне и смешно, и дядю Трошу жалко.

## 15

Все мужики в округе, за редким исключением, курили. Такая зараза...

Рядом с нашей хатой через канаву жил Колька Смарак. Может быть, его фамилия и не Смарак, но все говорили «Смарак». Потом он куда-то уехал со своей мамой, уехал как-то незаметно, и в памяти о нем у меня осталось только вот это. Курево, короча...

Был Колька уже большенький и самостоятельно ходил на вокзал, где собирал окурки. Курил он их за огородами, в полынках, в бурьяне или в ямах. За огородами было вырыто много круглых ям. Глину добывали для саманов, и ямы делали неглубокими, чтобы лошадь могла спуститься. Посреди этой круглой ямы земляной грибок оставляли, чтобы коноводу было где стоять. На Алтае ведь как земля устроена? Сначала на полтора-два штыка чернозем, а потом глина рыжая — да такая тугая, что зубы можно сломать. Это сверху, а потом мягче и мягче. Вот чернозем снимут, глину вскопают, разрыхлят, водой польют, соломы натрусят, лошадь в яму заведут — и коновод, стоя на грибке, бедную ее на коротком поводке по кругу начинает гонять, глину месить. Замесят глину, выберут лопатами да ведрами, налепят саманов, яма глубже станет. Второй раз затворить замес еще можно, а вот третий раз не получится: яма углубится — и лошадь в нее не заведешь, да и глину выбирать тяжело, проще новую яму отрыть. Организовывали новую, а эта старела, зарастала травой, и было любо нам, пацанам, в этих ямах от глаз родительских прятаться, дела свои всякие очень важные делать.

В этих ямах Смарак и курил. Он курит, а мы, мелюзга, вокруг него сидим и страшно завидуем.

— Че, Витек, хочешь покурить?

— Хочу.

— Стирь у бати патрон, дам...

Зачем ему патрон, я не знаю, но бату обворовываю, и курим уже все: сам Смарак, Леха Соклаков, Вовка Галушкин, я. По-всякому курим — и «а где мои кони?», и «ах, какие девки хорошие!..» «По-всякому» — это значит и просто так, и взятяжку. При слове «ах» и букве «а» надо, чтобы воздух в грудь втянулся, в самые легкие, да поглубже, до дна. Дыхание перехватывает — кашель, слезы, сопли, но... куда денешься, когда все вокруг курят.

В первом классе на мое «пусти побегать» отец меня уже не букварем останавливал, а таблицей умножения.

— Таблицу умножения «на семь» — и быстро...

А когда понял, что меня таблицей умножения не удержать, еще лучше завернул:

— Чем сапоги рвать, лучше садись да стихи пиши.

А на улице март уже апрелем пахнет, сугробы прогнулись, ледок, коньки, пацаны под окнами хороводятся...

Стихи так стихи, никуда не денешься. «Побегать» же охота...

Если б родитель знал, что он со мной сделал!

Очень хорошо помню тот момент, когда я взял чистую тетрадь, ручку, чернильницу-непроливашку казеиновую и сел выполнять батино задание. Борьба с рифмой была короткой. Я сочинил три строфы, где было про весну, про заливной луг, и еще там было про лебедя. Откуда я его добыл, не знаю...

Кстати, мама мне рассказывала, что родился я весь в шерсти, с головы до ног. Родился я в 45 году, после войны. Когда меня мама понесла, то первое, что подумала, — избавиться бы от этого несчастья. Голод ведь, без пенсии, без работы. Отец сказал — избавишься, зарублю. Мама знала, что он не шутит. Так я и появился на свет. Появился я, значит, весь в шерсти, медсестры просто ахнули — ужас какой-то! Принесли первый раз меня к маме, чтобы покормила, и смеются:

— Ну, бабушка (мама меня в сорок два года родила), корми своего Пушкина.

Кто их за язык тянул?..

Шерсть потом свалаялась, вылезла, стал я чистенький, только черненький. Но вернемся к стиху.

Минут за двадцать я написал про какого-то лебедя, про речку, про весну. Три куплета. На улицу я был отпущен, и на этом — ша! — больше мне батя заданий не придумывал. Не роман же писать, в самом-то деле.

Конечно, не роман же, но в голове моей детской, в мозгах крепко засел светлый этот клин, на рифму заточенный. Да еще этот Пушкин, будь он неладен. Его поэмой про Руслана и Людмилу я тогда уже зачитывался. Очень мне это дело нравилось... *У лукоморья дуб зеленый...* Что такое «лукоморье», я знаю, у нас, у «пацанов», у всех луки есть, и стрелы из тростника с металлическими наконечниками из консервной жести есть, и берег моря, под лук загнутый, мне представлялся легко. Но самое главное — это Руслан, конечно. Такой богатырь!.. Людмилу спас, колдуна за пояс заткнул, под Киев прискакал и всех врагов победил... А вот за всю учебу в школе я не написал ни одной строфы, ни одной стихотворной строчки. Не разбудили школьные уроки во мне тяги к стихотворчеству. Какие тут стихи, когда за окном пацаны и степи немереные со всякими радостями. Тут тебе и суслики, тут тебе и сети, и кони, и ружье, и удочки, и все-все-все...

Ни строчки не написал, но про лебедя этого помню всю жизнь и всегда знал: надо будет написать — напишу. В смысле, зарифмую, а уж стих это получится или нет — не скажу...

Месяц март за окном. Льдинок хрупкие блестки.  
Уйма свету в окне! Стой, замри, не дыши...  
Мой отец был чудак. Не жестокий, но жесткий:  
«Чем сугробы месить, лучше стих напиши...»

И я помню:  
Крыльцо, тополь машет руками,  
Солнца яркого прорва над нашим селом,  
Подоконник, усыпанный весь воробьями,  
Пацаны на сугробах —  
И я... за столом.

Мой отец был рыбак. Он вязал пятипёрстку<sup>1</sup>.  
Он описывал плавной рукою круги...  
Он не просто занятие придумал подростку —  
Он причину придумал:  
Жалел сапоги.

Я писал про весну, про отцовские сети,  
Как луга за рекой заливают вода...  
Это все, что в семь лет я увидел на свете,  
А про лебедя — просто придумал тогда.

Был он с красными лапами, белый-пребелый.  
Принимая весну, он справлял торжество!  
Я, по сути, в стихах ничего с ним не делал,  
Просто выпустил в луг и смотрел на него.

Мой отец был хитрец.  
Взгляд прищуренно-весел.  
Стих пришелся ему — я узнал по глазам.  
Он взъерошил меня и, беззлобно отвесив  
Подзатыльник, промолвил:  
«Ступай к пацанам...»

Я обул сапоги и ушел на планету,  
По сугробам пошел, закружился в борьбе.  
И все долгие годы, скитаясь по свету,  
Я как тайну храню эту строчку в себе.

20.11.1983

Написал я сейчас все это, и вспомнилось вот чего. Книжек у меня детских не было, в этом плане я ущербный. Но книжки мне нравились очень. Особенно новые. Они пахли здорово! А не доходя старого базара, за солонцами, наискосок вниз от старой почты был книжный магазин. Располагался он в старом хозяйском доме, был небольшой, и главное — около него всегда была грязь непролазная, болотина какая-то. По доскам да по камушкам пробирались. В магазине пахло сыростью и книгами. Я туда часто ходил и нюхал книжный воздух, настоящий на плесени и типографской краске. Мне этот воздух нравился. Денег не было, чтобы чего-то купить, так я просто смотрел. Очень помню одну книгу. Была она большая, красивая и называлась «Мертвые души». Ее никто не покупал, она лежала на прилавке, и меня очень привлекала надпись внизу под

<sup>1</sup> Пятипёрстка — пятидесятка (пять перстов), размер ячеи.

«Мертвыми душами» — поэма. Я читал пушкинские сказки и думал, что только Пушкин писал поэмы, а оказывается, была еще и непушкинская. Когда я все-таки осмелился и открыл ее, то был очень разочарован, это были не стихи. Как же так? Поэма — и не стихи! И «Мертвые души» от меня отвернулись. Потом, уже в школе, когда подошло время этих самых «Мертвых душ», я их осилил с горем пополам. Сочинение на эту тему писал с подглядками, с подсказками, только бы отбояриться. Не нравились мне эти души. И не нравятся до сих пор. В Плюшкина я, правда, поверил, а в Чичикова — нет; вот Руслан — это да! Верю. Потом, правда, был Тарас Бульба. В этого я поверил сразу. «А поверотись-ка, сын!..» Особенно поверил в Остапа. Ох, я отвлёкся... Смотрел я на эти книги, смотрел, вдыхал этот книжный воздух, вдыхал и, как сейчас помню, мечтал: вот бы и мне написать какую-нибудь книгу про какого-нибудь еще одного Руслана...

Написал про книжный магазин, и вспомнилось еще вот что. Не доходя до книжного магазина, прямо около самой старой почты, чуть ниже к солонцам, была утилька. Там принимали от населения разную рухлядь: тряпки, железки, кости всякие, хоть коровьи, хоть собачьи. Для нас эта утилька — это было просто что-то. Мы кооперировались пацана в два-три, брали тележку и лазили по всяким канавам и помойкам, выбирали все, что можно в утильке обменять на деньги. Набирали полную тележку хлама и везли этот утиль через все солонцы. Деньги были невеликие, но хватало, чтобы там же, в этой утильке, купить лесу, крючки рыболовные, какую-нибудь свистульку глиняную или, скажем, пистоны для игрушечных пистолетов. Жалко, что помойки были скудные, да и было их мало. Самые богатые объезды помоек были сразу после снеготаяния. Потом беднее, а к осени на помойках кроме угольной золы и объедков ничего не было.

## 17

Школа моя семилетняя носила номер 3. Была она деревянная и располагалась рядом с церковью. Школа и церковь были обнесены единым забором, но между школой и церковью был еще заборчик, то есть школа от церкви была натурально отделена. Раньше когда-то это был поповский дом, потом попа выселили, дом отгородили от церкви, и получилась школа. Я думаю, когда за современных нуворишей возьмутся, то школ и детских садиков в стране будет мама не горюй. Но нет, не будет. Конфискацию же наши избранники отменили. Знали, бесы, что в жизнь пропихивали. Такое пропихнуть — все одно что команду «фас!» дать. Воруи, мол, не хочу! Все наворованное — твое, а не твое, так детям достанется. А это дорогого стоит. Хотя бы и свободы...

Записываться в школу в первый класс я отправился самостоятельно, пришли большие мальчишки и забрали меня у мамы. С метриками в кармане, в составе уличной оравы я и пошел записываться. Все это было в те времена легко и просто. Никаких очередей, никаких блатов, никаких звонков. Хочешь учиться — учись — вот тебе школа, вот тебе парта, садись и будь примером!

Сводили меня пацаны в школу, записали в первый класс, а заодно и проверили — нормально я уже курю или еще нет. Курил я уже нормально. В затыжку.

Учиться для меня в первом классе было истинной каторгой: я уже

бегло читал, и слушай, как рядом мои сверстники «тыкали» и «мыкали», нужно было иметь большое терпение, а где его взять? Так я попал в непоседы, а тут еще курево — и пошло, и поехало. Какой там пример? Однако учился я хорошо, скромничать не буду, и всегда, когда приходил домой после школы, еще с порога объявлял отцу — «четыре, четыре, пять...» или «пять, пять, четыре...». Ему это нравилось. А когда я говорил, к примеру, «пять, четыре, три...», он спрашивал: «Во! А это зачем?» Я, как мог, объяснял, но такое было крайне редко.

В школе старшеклассники выпустили стенгазету. А там я нарисован. Стою я весь в дыму, во рту папиросина раза в два меня больше — и подписал внизу: «От горшка два вершка, а курит папиросы». Ох как я расстроился! Я-то думал, что я уже большой, а тут... Да еще складно-то как: горшка — вершка...

Школа. Ох уж эта школа...

Где-то с третьего класса, наверно, в наши летние каникулы вклинились сельхозработы. Назывались они «работа на пришкольном участке». А может, как-то по-другому, но суть была в том, чтобы выращивать на пяти (или восьми) сотках земли какие-то огородные растения. Свеклу там, морковку, лютики... Чистое баловство, как будто у наших мам на наших огородах эта свекла не росла. Можно было и там ее пополоть — к селу, так сказать, прикоснуться, что мы, кстати, и делали. Конечно, с неохотой, но пололи. А тут... и мы не гуляем, и учителя с нами возьтася: журналы ведут, оценки ставят, сорняки дергают. Меня спасала справка от заготконторы. Дядя Федя, который заготовитель, под красивой фиолетовой печатью сообщал директору школы Ивану Харитоновичу Хорошилову, что я все лето занимался отловом сусликов. Суслики — это же вредители, а я с ними борец. За такую борьбу мне выходило освобождение от всяких лютиков-ноготков.

Но так было в школе №3, и совсем не так вышло в школе №1, где учебой командовал Иван Семенович Сердюк. Нет, сказал он, никаких сусликов не признаю — и в промежутке между 8-м и 9-м классом я со товарищи в течение целого месяца обивал дранкой чей-то деревянный дом изнутри. Говорили, что дом этот для кого-то из учителей или работников роно. Вот такие сельхозработы, такая свекла!

А в следующие летние каникулы нас прикрепили к лесопитомнику, что за речкой Горевкой. А это такая даль! С Малой Панюшовой через весь Алейск, через Горевку, на бугор и потом еще за лесопитомник к прудам, где наше поле было забито желтой противной сурепкой. Между этих сурепок росла свекла опять же. Драли мы эту сурепку вместе со свеклой, но радость была в том, что около был пруд. Что нам сурепка, когда рядом вода! Весело было, обижаться не буду. Если бы не длиннющая дорога назад, то просто лафа.

Сурепка сурепкой и вода водой, но ведь и жрать что-то надо. Первые разы я с собой ничего не брал, ладно, мол, не сдохну. А потом понял: сдохну. Все что-то едят в перерывах, а я как сиротинка. Хорошо, что рядом пруд, все на перекусе, а я в воде, и весело мне. Вроде и весело, а жрать-то хочется, желудок купанием не обманешь, тем более что от купания сильнее голод чувствуется. До тошноты, до головной боли.

И тогда мама договорилась с тетей Ниной, которая жена дяди Феди, что она, тетя Нина то есть, будет по утрам, как я иду на отработку, наливать мне бутылку молока. Жила тетя Нина у «пукалки», как раз на моем пути на сурепку. «Пукалка» — это мельница, двигатель на которой при

работе шумел: «Пук-пук-пук...» Двухтактный, наверно... Мельница располагалась как раз от вокзала на спуске к солонцам.

Краюха хлеба, бутылка молока — и уже можно жить. У всех перерыв на обед — и у меня перерыв. Молоко вкусное, густое, хлеб пшеничный. Сколько человеку нужно для счастья! Совсем немного надо, молока бутылку да хлеба шмат. Хотя, если честно, то краюхи хлеба да бутылки молока маловато, конечно, было...

## 18

Игрушек фабричных ни у меня, ни у моих сверстников не было. Лично в моем хозяйстве болтался резиновый ежик со свистулькой в попе и оторванным носом. Заткнешь дырочку в носу и сжимаешь его, бедного. Сожмешь резко так — он и свистнет. Попой. Не зажмешь — через нос пыхает: пых, пых. Откуда это сокровище ко мне пришло, не знаю. А еще был гипсовый пионер с ободранными коленками и без одной ступни. Стоять он не мог, если только с подпорками. Я им не играл. Остальные игрушки самодельные. Колесо стопорное, монтировочное от полуторки, с крючком. Как это работало, и объяснить трудно. Крючком давишь на колесо, и оно начинает катиться. Оно катится, а ты за ним бежишь и крючком подталкиваешь. Ну очень интересно... А еще у нас были бабки скотьи (панки и люхи), пристенок (это уже игра на деньги), горюдки с одной рюхой (игра в клёк), клин-бабай... Скотьи бабки — читай, говяжки. Эти игрушки в карман не кладутся и с собой не носят. Игры эти коллективные, что очень важно. О «войне» я уже и не говорю: были мы все военные и послевоенные и в «войнушку» играли через день. А еще каждое лето, где-то в середине, мы все вдруг начинали делать луки, а к ним — стрелы из тростника, которые снабжали наконечниками из жести от консервных банок. Это все было достаточно опасно, стрелы были острые и летали далеко. Глаз можно было выбить легко, но беды такой, слава богу, не случилось. Это я к чему? А к тому, что Ванька Растягаев, который с улицы Омской, принес в школу презерватив. Что это такое, мы не знали, но резина очень хорошая. Надул Ванька эту колбасину и по классу бегаёт. Он бегаёт, мотает шариком этим, а мы за ним. Очень уж хочется потрогать этот шар, а еще лучше — проколоть бы его. Если бы проколоть его, то резину поделили бы на всех, и у каждого был бы лоскут, из которого можно надуть маленький шарик и тереть им о ладонь. Ты бы тер, а шарик бы пищал. Тоже дело...

В самый разгар нашей беготни, когда пыль уже стояла до потолка, в класс зашла завуч. Увидела всю эту беду, беготню погасила и говорит:

— Ну-ка, Растягаев, дай сюда эту игрушку.

— Не дам.

— А я говорю, отдай!

Иван расплакался:

— Ага! А что я на май надувать буду?..

## 19

Зимы в те годы, в пятидесятые, были очень суровые. Морозы, бураны... Бывало, задует буран — и дней несколько свету белого не видно, и всех дел — печь топить да изловчиться воды из колодца принести. А когда уж и воды не принести, то топили снег. Но зима когда-то, да кончалась. И тогда наваливалась весна. Сугробы рушились, оседали, в низинах

наливались огромные лужи. На улице Заливной такое море образовывалось! А ночные морозы не уступали, и по утрам лед был крепок. Чистый-пречистый! Наступала эпоха коньков. Коньки были двух типов: ласточки и обрубьши. Ласточки — это ласточки, а обрубьши — это обычные снегурки с обрубленными носами. Точить коньки не умели, а закрученным носом как отталкиваться? Вот и рубили зубилами эти закрученные вавилонистые крендельки. Коньки дутыши (хоккейки) появятся потом, и купит мне сестра Люба такие в Семипалатинске. Дутые, блестящие, с ботинками коричневыми. И будут мне пацаны завидовать, но не долго. Одну весну только. Я ведь расту...

Коньки коньками, а весна не ждет, когда мы накатаемся. Греет и греет, и однажды от зимы останутся только лужи, да и те скоро уйдут.

Конец апреля, идем ватагой со школы, а на солонцах огромная лужа. Кока Шипулин, тот самый, с которым я всегда дрался, мне и говорит:

— Не перейдешь.

— Перейду! Спорим...

Спорить — это же спорить! Это же по-мужски...

Поспорили на десять крашенных яиц. Скоро Пасха.

Лужу я перешел. Сапоги набрал полные. Яйца выпорил.

Дома мама мне говорит:

— Где тебя черти носят? Все дети как дети, сухие, чистые...

Я молчу, а сам думаю: где же Кока десять яиц возьмет? Это ж не одно, не два...

## 20

На нашем краю — я имею в виду улицу — собрались вместе три фамилии не то польские, не то еврейские: Бобровицкие, Добровольские, Брюховецкие... Бобровицкая Лидка, Добровольский Юрка и я — все примерно одного возраста. С Лидкой я не играл, какая-то она маленькая была, субтиленькая, а вот Юрка хоть и худенький был, но на три года меня постарше, а я хоть и моложе, но бутуз, и дружба у нас получалась. Дед его Данила, по сегодняшнему моему понятию, мужик был шибко крепкий. Семейю держал ого-го как! Хозяйство имел доброе. Дом бревенчатый, тесом крытый, на огромных камнях фундаментных. Сарай длинный теплый, сеном и скотиной набитый. Баня, опять же. Коровы, телята, овцы, гуси — все это в их сарае всегда мычало, гоготало и бляело. Сам он валенки катал. Пимы! Катал он их в бане, в пару и чаду. Приправлял все это соляной кислотой, и если я в баню заскакивал в поисках Юрки, то задыхался уже на пороге. Все это, похоже, и угрохало деда, умер он еще не старым, лет семидесяти пяти. А в ту пору каждую осень он со своим старшим внуком Женькой, который с нами, мелюзгой, уже и не водился, ездил в Алма-Ату или во Фрунзе к дальним своим родственникам и привозил на поезде мешки урюку. Мешков пять, шесть. Урюк!.. О, Господи... Как он пах!

Конечно, мы жили бедней. Ели у Добровольских интересно. Садлись всей большой семьей за стол, щи наливались в одну огромную миску. Щи, разумеется, были с мясом. Есть начинали по команде. Ели щи, потом дед делил мясо, а потом был компот из урюка. Не часто, но иногда я все это наблюдал, сидя на лавке у выходных дверей, дожидаясь, когда Юрка поест и мы пойдем бегать на улицу. К щам меня не приглашали, но компот наливали всегда. Вкуснятина...

Теперь этот урюк лежит в любом магазине, на любом рынке, иди и покупай. Это теперь, но тогда у меня урюка не было и уже никогда в том самом «тогда» не будет, а это и есть самая большая печаль, когда детство чем-то обделено. Тогда я этого не понимал, я просто жил, бедности своей не замечая, а Юрка у себя дома еще и говорил: у Брюховецких едят лучше, у них каждому паек выделяется.

На улице Гончарной, у самых солонцов, прямо первая на ветру стояла хата тети Лены Гайдамакиной. Солонцы тянулись лентой с юга на север, а самые злые ветры у нас были южные: с юга и дожди, и грозы, и бураны, и все черти. С севера ветров сильных не было, с севера приходил холод — что летом, что зимой. Стояла гайдамакинская хата первая с юга, и все беды, связанные с ветрами да буранами, доставались ей. Мы любили эту хату, и тетю Лену любили.

Носила тетя Лена широкую-преширокую юбку. Ходила плавно-плавно — юбка, наверно, шаги скрадывала, — и таким теплом и добром от всего этого веяло, что и не передать. Невыразимое все какое-то было, не найду я для этого слов, нету их в моем словаре...

На дворе буранит, в трубе — у-у! — а мы, пацаны, набьемся в эту хату, на полу у печки рассядемся, и начнет тетя Лена нам сказки сказывать. А чтобы нам совсем радостно было, она нам семечек жареных подсолнечных даст. Семечки не такие, что сейчас в пакетах продают «От атамана», «От бабы Феклы» или еще от кого-нибудь, а серые да крупные, в половину мизинца. Такие уж серьезные у нас в огородах подсолнухи росли. Шляпки, как маленькие зонтики. Счастье — оно ж должно быть полным, а какое счастье без семечек? Сидим мы на полу, как серенькие мышата с глазками вострыми, слушаем сказки и семечки лузгаем. Слушаем и лузгаем, слушаем и лузгаем...

А сказки были очень хорошие, все про Василис да про Кощеев. И не было им конца! Уже потом я их все или почти все в «Русских народных сказках» найду. Откуда она их знала? Русская деревенская баба! Русская речь... Не с той ли поры и полюбилось мне русское слово, и потянуло меня стариков подслушивать, и подсаживался я к ним на бревна да на завалинки, с краешку, и сидел, раскрыв рот, слова русские впитывал. Кто знает...

Сказки сказками, но пора и по домам. Семечковую шелуху мы очень аккуратно, до последней лузги, выметали веником, оставляли после себя чисто.

Я про тетю Лену сейчас написал, и вспомнились мне из детства сказки Г.Х. Андерсена. Я про этого Кая с этой Гердой (не ошибиться бы в именах) до середины дочитать не мог. Таким холодом от этой книжки веяло, да еще там картинки всякие с вьющимися метелями да огромными сугробами, да еще сердце со льдинкой внутри... Этого холодного добра у нас за окнами было — завались! Разве можно в Сибири такие сказки ледяные читать. Я и не читал, а заодно и братьев Гримм не стал читать, и вообще от всего иностранного меня в моем младшем школьном возрасте отвернуло напрочь. От Дюймовочки так чуть не стошнило. Этот крот... Тьфу! Русскому дитю нужны русские сказки, чтобы в них добро было, тепло было, любовь бы была, волшебство и много-много счастья. Наверно, это не очень хорошо, что я этих гансов с братьями не читал, но детство не вернуть.

Из живности, что у нас водилась, больше всего запомнилась корова. Была она комолая, без одного рога. Вернее, рог-то был, но был он короткий и набок свернутый. Не острый. Другой — острый, но она им не пользовалась, умная была.

Корову звали Елка. У всех Буренки, Пеструшки, Зореньки, а у нас Елка!

Отношения к ней я никакого не имел, маленький был, и коровой занималась мама — и к пастуху выводила, и по вечерам встречала, и на обеденное стойло на дойку к речке Горевке ходила — или на старицу, что за улицей Омской. Встречала она Елку всегда с кусочком хлеба. Маленькое дело — кусочек хлеба, но Елка к нему чуть не бегом шла, сладкий он для нее был. Еще бы! Этот хлеб и мне всегда вкусным казался, пшеничный да в русской печке на капустных листьях испеченный.

И подсмотрел же я, как Елку нашу теленок наш же подсасывает — титьку в рот возьмет, а сам носом вымя тычет, тычет. Молоком пахнет!.. А язык у теленка шершавый-прешершавый. Когда он мои пальцы в рот брал и сосать начинал, я приходил в восторг, так это было приятно. Живой теленок сосал мои пальцы! Не передать ощущение, в голове даже пусто делалось.

Вот... Однажды смотрю — лежит наша Елочка, вымя вывернулось и сосок один прямо в небо торчком торчит, на подвиг зовет, совращает. Я на коленочки около вымени встал, приладился к соску и сосать начал. Сосу, сосу, а молока нет. Я весь изъелозился, а во рту пусто, только запах. Потом догадался, титьку рукой придавил, молоко и брызнуло. Тепло! Много ли мне надо? А корове, наверно, приятно было: как лежала, так и осталась лежать, только челюсти — туда-сюда.

Недели две я с коровой дружил, пока мама меня хворостиной не пометила. А потом я сено сжег, а еще года через три и Елки не стало. Все помню, но описывать не буду. Отец плакал. Он плакал тогда, мне грустно сейчас...

Вообще отец был не сентиментальный. Чтобы пожалеть меня иной раз или вдруг слезу пустить — не помню. Но случай такой еще один раз был, помимо коровы.

Охотился он по весне на Карасево с подсадными. А подсадные хоть и одинаковые на вид, но работают все по-разному. Из всех подсадных он на одну очень радовался. Такая ходкая да голосистая была. Где бы селезень ни летел, на какой угодно высоте, если она увидит, то уже не отпустит. Будет звать, крыльями плескаться и все-таки осадит гулену.

И в этот раз так же. Уже заря отошла, отец отстрелялся, и, откуда ни возьмись, как на грех, еще селезень прибился. И сел, негодник, почти на одной линии с уткой. На линии, да не совсем, но бить в принципе было можно. В принципе... Отец и пальнул. А по линии выстрела камышинка старая торчала. Это отец потом уже, когда все свершилось, сообразил. Селезня-то убил, а утка кричать перестала и как-то присмирела. Пока домой ехали с Иваном Игнатьевичем, подсадная в садке и померла. Написать «сдохла» рука не поднимается. Своя же, кровиночка же. Мама ее ощипала, а она дробинкой насквозь пробита. Дробинка в грудь вошла, под левой лапкой вышла. Потом отец эту камышинку осмотрел. Дробинка, камышинка, рикошет... Такой случай странный. Утку есть не стали, отец ее похоронил. Закапывал и слезы рукавом утирал, чтобы я не видел. А я видел. Плакал он тихо, не по-бабьи, но слезы были.

Все время проводил я на улице, на Алее, за Алеем, на озерах... Где только нас не носило, ну и как результат — хвори всякие. И водилась среди нас болезнь, какую я больше и не встречал никогда. Нет, это была не золотуха, а такая гадкая вещь... Вот ничего, ничего — и вдруг губы, борода покроются прыщами. Сначала торчат они ровно, потом обязательно раскиснут и растекутся по всей морде. Потом они подсохнут, чесаться начнут и в корку коростную превратятся. Сплошной геморрой, как говорил сосед наш дядя Митя. Лицо чешется, и от этого еще хуже. Синьки — в смысле, зеленки — не было, в йод не очень верили, да и его не достать, зато была на улице Омской, что через улицу Заливную от нас, баба Фрося. Фамилия ее была — Стаценко.

Мама мне про мою такую беду всегда говорила:

— Это огонник. От того, что в огонь плюешь. Пойдем-ка к Фросе Стаценчихе, позаговаривает...

А в огонь я, правда, поплевывать любил. В костер в смысле.

Придем мы к бабушке Фросе, а она добрая, погладит меня по голове и на стульчик усадит перед печкой-грубой. Груба — это печка кирпичная с плитой, с вьюшками, с поддувалом, и ставилась она, как правило, перед устьем русской печки, а уж если русской печки не было, то ставилась груба сама по себе и смотрелась тогда она в избе сирота сироту. У бабушки Фроси печка русская была, и от этого в хате было уютно и объемно. Накладывала баба Фрося в грубу немного дров, поджигала их, дверцу оставляла открытой, я сидел на стульчике и смотрел на пляшущие языки огня. Хорошо...

Я сижу и на этот где-то когда-то мною оплеванный огонь смотрю, а баба Фрося мягкими своими пальцами по лицу моему водит, водит и что-то шепчет, шепчет, а сама травку сухую в огонь подкидывает. Меня в сон тянет. А бабушка что-то шепчет и зевает, зевает.

Два, три вечера я у нее поприисутствую, она пошепчет-пошепчет — короста с морды и сползет.

Жизнь прожил, а в чем секрет этого действия, так и не знаю. Пишу, что было, не с чьих-то там слов. Но и это еще не все...

Вдруг ни с того ни с сего по ночам вскакивать начинаю. Вскрываю ночью, куда-то рвусь и что попало говорю. Не разобрать. Да разве разберешь — за весь день по всей округе налетаешься, всего насмотришься, перед сном в голове такой шурум-бурум — взрослый не выговорит, не то что ребенок.

Мама моя все знает и говорит, что вскакиваю я от испуга. А испуг надо лечить. Опять бабушка Фрося. Называется это лечение — «выливать».

Та же хата, тот же стульчик — и я на нем. В латунный корявый тазик баба Фрося наливает воды колодезной, и держит моя мама эту посудину над моей головой. Я сижу, мама тазик держит, а бабушка в это время на примусе в кружке воск плавит. Воск плавится, а баба Фрося слова непонятные шепчет и опять зевает и зевает, как будто кто-то не хочет, чтоб она шептала. Когда воск расплавится, она перекрестится, и воск этот тонкой струйкой в тазик, что мама держит, и выльет. Мое си-

день заканчивается, я вскакиваю и в миску смотрю — что же там получилось? А ничего там и не получилось, плавает в тазике лепешка восковая желтая и все. Воск — он и есть воск, легкий, вот и плавает. Мама с бабушкой тоже на эту лепешку восковую смотрят. Смотрят и вслух гадают — на кого же она похожа? Я тоже гадаю — вроде, ни на кого, лепешка как лепешка...

Баба Фрося:

— Никак, бык?

Мама:

— Похоже, бык...

С их подсказки и я начинаю в этой лепешке быка выглядывать. Смотрю, смотрю — а и правда, бык: и рог видно, и глаз, даже ноздрю видно...

Когда ж меня бык пугал? Только вскакивать по ночам и окоlesiцу нести прекращаю. Что за правда такая, не понимаю.

## 25

Огороды у всех, огородни много, а колодцев мало, и воду для полива возим со старицы. Делается это каждый вечер. Во всех дворах тележки, на тележках укреплены бочки, в них деревянные круги, которые при полной воде плавают в бочке и не дают воде выплескиваться. А еще, если все это укрыть дерюгой, то вода вообще выплескиваться не будет. Это очень важно. У тети Маруси Березиковой тележка лучше всех других. Легкая, удобная — и главное, бочка с нее легко снимается.

Сижу возле хаты и слышу, как тетя Маруся отцу моему говорит:

— Василий, Витьку выпороть бы надо.

— Что так?

— Прибегал вчера, тележку просил. Спрашиваю: зачем, а он — мне: Любку, говорит, за огороды повезу...

Отец хохочет.

— Так прямо и сказал?

— Зря смеешься, бабником вырастет.

— От этого ремнем не убережешь...

Я на тетку Маруську шибко тогда обиделся. Мало того, что тележку не дала, так еще и всем о моей любви к Любке рассказала.

## 26

Я знаю: квартальный — это у кого печать. Этой печатью квартальный истинность справок подтверждает, заверяет их. Отцу справку такую квартальный заверял каждый год по весне: ранен, мол, был в плечо, рука, мол, не поднимается, все в порядке, и печать фиолетовую — бух! Дяде Леше Саликову безрукому тоже справку заверял: руки, мол, нет, не выросла, и печать — бух! Справки писали сами инвалиды — папа про свое плечо, Саликов про свою руку, и справки эти, заверенные квартальной печатью, сами же в собес и носили. Про Саликова не скажу, а папину справку носила в собес мама. Папа до такого не унижался.

У дяди Андрея Растягаева две примечательности — печать, он квартальный, и пуля в голове. Печать ему дали в собесе, а пулю он на войне добыл. Дырка от пули аккуратно меж бровей, не заживает. Он говорил — так че, в разведку-то пошли, зима, мороз, ночь лунная-лунная. Лежим в лесу, а на поляну фрицы выходят, я с автомата двух и срезал (я слушаю

и вижу, как дядя Андрей их, фрицев-то, с автомата режет, как серпом, пополам), остальные залегли. Бой заварился, а я возьми из-за ствола основного и выгляни — че там да как? Очнулся в санбате. Хотели череп вскрывать, вынимать пулю, но не стали: живи, мол, пока живется, сдохнуть успеешь.

А он и жил и подыхать не собирался. Детей настрогал, хозяйство держал. Квартальным был!

Работал на шабашках: цемент и уголь из вагонов разгружал. Ходил с огромной совковой лопатой, я таких огромных лопат, признаться, больше никогда и не видел. Не лопата, а прямо ковш экскаваторный. Носил он лопату на плече, ходил прямо и важно, но до первого стакана. Только, надо сказать правду, пил он редко, а когда напивался, садился у лужи и песни татарские, а может, чувашские, пел. Отец говорил, что это от пули.

## 27

Судьба... С одной стороны посмотреть — чепуха все это, выдумки, а с другой стороны глянешь — вроде как что-то есть, кто-то тобой правит, по кусочкам жизнь твою складывает, в будущее ведет...

Купались мы летом в двух местах — в старице и в Алее. Плавать умеешь — иди на Алей, не умеешь — лезь в старицу. Я плавать умел, когда научился, не помню, но большие ребята, с разрешения мамы моей, брали меня с собой на Алей. Это сейчас Алей усох, а тогда он был широк, глубокий и воды свои, закручиваясь на ямах и омутах, нес хорошо. Рыбы было! Чебаков, пескарей! Стерлядки по весне на червя клевали... Они из Оби поднимались до наших краев, но на лето сваливались по течению обратно в Обь.

Солнышко поднялось, мы идем на Алей, а у старицы толпа собралась. Мы — туда, еще бы! А там мужики утопленника откачивают. Кто утоп-то в этой луже? Мы считали старицу лужей, мы же плавать умели, но старица, признаться, была кое-где глубоковата, и кому-то, видимо, этой глубины хватало. Кому? Смотрим — ба! Да это ж Вовка Хилый, мы его еще дразнили — Вчерашний Рахит. Вовка плавать не умел и вот утоп. Мнут мужики Вовку, мнут, только руки вовкины мелькают: туды-сюды. Мяли Вовку, мяли, отмяли. Сначала у него вода изо рта побежала, потом пузыри полезли, потом сопли из носу, потом он глаза открыл, потом домой убежал. Ладно...

Вечером идем с Алея — купались днями напролет, — а у старицы опять толпа. Опять утопленник! Смотрим — снова Рахит! Два раза на дно утонул. И опять откачали. Вот теперь и думай: есть судьба, нет...

## 28

Декабрь. Скоро Новый год, каникулы. Ну, это еще не скоро, еще когда-то, а вот выборы уже наступили. Маслозавод в кумаче! У лошадей в гривах ленты вплетены, дуги тоже красным перевиты. Кони в инее, подковы — хруп, хруп; полозья кошевок — дзинь, дзинь — посвистывают на раскатах, мы сзади пристраиваемся и катаемся. На халяву-то прокатиться — это ж будь здоров! На маслозавод пиво «жигулевское» в бочках завозят, колбасу семипалатинскую конскую — «казы» называется, конфеты подушечки с повидлом внутри. Все это разгружают в контору, где уже

урны красные стоят. По кумачу — белым: «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных!»

Выборы! Выбора, с ударением на «а».

Радости сколько! Одно только непонятно: что это за блок такой? Коммунисты — это ясно, это Федька Шкарин, беспартийные — тоже ясно, это мой отец, дядя Андрей и все остальные, вся улица, короче, а вот блок?.. Это было непонятно. Да еще нерушимый. Крепкий, выходит. Выходит, не разбить. Железка, похоже, какая-то...

Отец с вечера маме наказывает:

— Надо было завтра голосовать пораньше идти. Андрей говорил, что пива мало завезли, три бочки всего, проспим — не достанется.

Это к тому, чтобы мама не проспала, сам-то папа с ранку не пойдет, не тот уровень, а вот маму отправить — это пожалуйста. Маме же все равно рано вставать, печку топить, завтрак готовить, мама сходит пораньше, проголосует. По морозцу-то ни свет ни заря — скрип-скрип. Ладно...

Десять часов утра, подраассвело, садимся завтракать, уже и отец проголосовать сходил. Садимся, отец пивко, мамой в бидончике принесенное, попивает, а по радио как раз гимн заиграли — это Москва-засоня проснулась, — после чего тетка дикторша громко так торжественно и говорит: «Сегодня по третьему избирательному участку первой проголосовала Брюховецкая Александра Яковлевна!..»

Отец:

— О!.. — И с матерочком. — В радио, никак, попали. Шурк, слышь, выходит, не зря так рано поперлись. И пивка достали, и по радио прогрели.

Кстати, из всех благ цивилизации две и нам достались. Радио и электричество. Радио запомнилось не особо, помню только гимн и радиопостановку про Любовь Яровую. Эту постановку вещали чуть не каждый месяц. Отец ее наизусть знал. А приемниками были черные большие тарелки. Как они работали, я не знаю. Но говорили... А вот электричество — это да! Оно пришло позже радио. Я учился уже в седьмом классе (кажется), когда по улице вдруг ни с того ям нарыли, столбы поставили и электрики с «кошками» ходить стали. Важные такие! На плечах крюки загнутые со стремянами, на поясах — ремни широченные, и у каждого — цепь, на колодезную похожая. Эти крюки, которые на плечах, «кошки» назывались. А потом провода протянули! А потом пришли другие электрики и проводку, скрученную двойным проводом, с маленькими фарфоровыми изоляторами, с патронами, розетками и выключателями по стенкам и потолкам развесили. Радости-то! Но свет электрический был не весь день и только до одиннадцати вечера. Напряжение приходило от генератора, что был на маслозаводе. Механик этого генератора в одиннадцать вечера глушил дизель — и свет кончался. Перед отключением в хате обязательно два раза мигала лампочка. Мол, всем приготовиться — вырубая! Но нам и этого хватало, а кому было мало, то на этот случай лампа была керосиновая. Лампу никто не отменял. Уже потом, через много лет, провели настоящее электричество, без перебоев, и генератор забылся. Появились первые стиральные машины, утюги, а у кого и холодильники. У нас холодильник был в подвале. Из мартовского снега... А еще в ту пору, помнится, и про телевизоры поговаривать уже начинали, только я и в мыслях такое вообразить не мог. Чтобы ящик типа посылочного, а в нем настоящее кино! Не верю...

Умер Сталин. Всюду флаги черные, траур, все горюют. Разговаривают вполголоса. Стоим на школьной линейке, во всю стену портрет Сталина — лентой черной перевитый, учителя плачут, директор (мы Ивана Харитоновича Харитошей кликали) тоже плачет, а я не плачу. Жалко, конечно, Сталина, а слез нет. Стою, мучаюсь, глаза свои неблагодарные от других прячу. Неудобно же, Сталин же, у всех слезы прямо неподдельные, а у меня ни капли. Кончился этот плач вселенский, из школы вышли, я своих ребят ищущу, чтобы вместе домой идти, а их и след простыл, далеко где-то впереди идут. Закладываю пальцы в рот, про траур-то забыл, язвы его, и свищу как Соловей-разбойник. Отсвистелся, а Маруся Паланевич, соседка моя по парте, и говорит ехидненько так:

— Ага, Брюховецкий, на линейке не плакал, да еще и свистишь, вот я Харитоше и расскажу, он тебе задаст...

Ай мозги мои быстрые! Я Маруську за язык — хвать!

— Какому, — говорю, — Харитоше? Эт кто?

Маруся язык и прикусила, но я все равно весь сталинский траур ходил и переживал: расскажет, нет?.. Не рассказала, на Харитоше попала. Язвочка...

Да она и не рассказала бы. Я думаю, что она меня пугала. Просто так.

## 30

Дело было зимой — или весной? Год 53-й (или 54?). Не помню. Сидим в классе, учимся, уже темнеть стало, технички лампы керосиновые по классам разносят, на парты ставят, на каждую парту одна лампа. Лампы поставят, и в классе уютно становится. За окнами темень, фитили в лампах мерцают, похрустывают. Тепло. В каждом классе печка стоит круглая, черною крашеной жестью окована. Топится такая печь дровами и углем. Учительница — Марьялексевна — у печи стоит, в шаль завернулась и что-то рассказывает. Вдруг — ба-бах! Школа подпрыгнула вместе с нами. Подпрыгнула и на место стала. Стекла посыпались, печь раскрылась, полный класс золы угольной, лампы погасли. Кто? что? откуда?.. Паники не было. Просто что-то рвануло один раз — и тишина. Гробовая. Разговоров об этом взрыве было много, но толком никто ничего не знал.

От нас до Семипалатинска — восемь часов, если поездом...

## 31

Готовлюсь вступать в пионеры. Прием в пионеры приурочен ко дню рождения любимого Ленина. Или ко дню Октябрьской революции? Не помню. Помню, что за окном был снег. Не важно... Дали мне в школе задание: выучить стихотворение и перед линейкой прочитать. Я учу, учу, а оно длинное. Но... надо. Выучил.

Перед линейкой, уже весь в галстук, я читал:

В воскресный день с сестрой моей  
Мы вышли со двора...

Читал я долго, даже устал. Учительница потом сказала, что читал я плохо, без задора. Такая тягомотина, откуда задору быть?

По дороге из школы набрался где-то задору и домой явился радостный. Чуток морозило, галстук на мне красный, щеки еще краснее. Честно сказать, был я пацан мордатенький, морда у меня была с двадцатник. Двадцатник — это двадцать копеек. В хату влетел весь счастливый, весь горю, а отец спрашивает:

— Стих-то читал? — Он слышал, как я учил эту канитель.

— Читал, — говорю.

— Весь-весь?

— Ага...

— Длинный очень, надо бы покороче прочесть.

— Какой? — спрашиваю.

— Да вот этот: «Пионер, купи свечу, поставь на ...опу Ильичу».

Мне стало нехорошо, я ведь и отца любил, и Ленина любил, и вдруг «свечу». Ленину от отца? Отец увидел мое лицо и сконфузился. А может быть, он испугался, Павлик-то Морозов недалеко от нас был. Дело замялось, в КГБ я не пошел, папу родного сдавать не стал, не всем же быть Павликами, но что-то в моей детской душе надломилось. Не к родителю надломилось, нет, а вообще. Пионером я был так себе, спрехвала, все эти отряды, горны, барабаны, красные кресты, ногти грязные меня ну никак не волновали. Тем более, я покуривал. А вот учился хорошо, память была хорошая, и к учебе был не ленив. За хорошую учебу меня, наверно, и в пионеры приняли, до кучи. Ну, посудите — если покуривает, если плохо учится, то какой же это пионер-всем-пример. А я учился хорошо. Учился хорошо, но к пионерии был равнодушен. А с другой стороны: все пионеры, а ты не пионер. Как жить?

## 32

Ловим сусликов под Сосновкой, это за Первоалейском. Отец и мы, пацаны: Юрка Добровольский, Толька Архипов, у которого я сено хотел поджечь, и я. Расположились у речки Горевки. На одной стороне мы, на другой — пастухи с коровьим стадом. Загон большой, вагончики, навесы, умывальники. Бытовуха, короче... Пастухи с коровами нам не мешают, мы — им. Они с утра — пастись, а мы с утра — калканы по норам расставлять. Все равно все скучно, если бы не бык.

На пастушьей стороне, возле коровьего загона, на отдельной поляне бык лежит на привязи. Симментал! Красавец! Зверь, а не бык. Метров пять, наверно, в длину, рыжий, высокий, рога прямые, как штыки, а на рогах кольца металлические надеты. От этих колец цепи идут к третьему кольцу, что в ноздри вставлено, и от этого носового кольца цепь к штырю стальному, что в землю вбит, протянута. Представляет: штырь — цепь — кольцо в носу и цепи к кольцам на рогах. От серьезности этой сбруи под ложечкой сосало. Лежал он смиренно, но пастухи предупредили: «Не подходить!» Весу, по их словам, в нем было больше тонны. Здоровый, тяжелый, но резвый был. Бык же!

Это был производитель. Задача его была одна — производить. Но от его садок, от его тяжелой туши у коров спины, по словам пастухов, лопались, а потому там рядом стоял сделанный из бруса и досок специальный станок, куда коров под это дело и заводили. Мы этот станок зовем нехорошим словом, но в слове этом первую букву «е» заменяем на «э», не так погано звучит, даже благородно, типа д'Артаньян. Процесс этот нам был очень интересен. Еще бы! Пацаны, подростки — и такое сокро-

венное дело, как не подглядеть. Но пока не сезон. Я знаю, отец нас не ругал бы и на глаза нам шоры не навесил бы, но главное было не в этом, не подглядели и не подглядели. Главное было в том, что незадолго перед нашим отъездом, когда сусликов в этой округе мы подчистили, разразилась гроза. Громыхало хорошо. Всю ночь! Под этот грохот бык с привязи и ушел, я уже и не помню: со штырем ли, с обрывком ли цепи. По ветру, по дождю ушел, как все животные. Один из пастухов решил достать его верхом и достал на свою беду. Бык лошадь распорол, распустил ее кишки по ковылю, пастуха укатал до смерти — и настигли его, озверевшего, километрах в семи ниже по Горевке. Там и пристрелили. Я этого не видел, пастухи говорили. И еще говорили, что милиция приехала, председатель, прокурор... Три смерти сразу. На ровном месте. Я это все представляю себе в самых ярких красках, и мне жалко всех — и лошадь жалко, и пастуха жалко, и быка жалко. Такой красивый...

### 33

Отец с фронта битый пришел. Инвалид. Левая рука в плече поломана, и выше уровня плеча не поднималась.

Мама рассказывала:

— Пошел он пенсию оформлять, а девочка в собесе ему и говорит: я, мол, дядя, пенсию тебе начислю, только половину мне отдавать будешь.

Не убоялась ведь! При живом Сталине! Вот она, натура человеческая. Война идет, а эта соплячка с живого увечного защитника, не стыдясь, последние штаны снимает. Скажете, что таких было мало. Конечно, мало. Только и этого мало — много...

А отец — хрен, говорит, тебе в ноздрю, а не половину. И ушел.

Я так думаю, что он сказал: не хрен. Лучше... Он мог.

Мама еще рассказывала:

— И остался без пенсии. Гордый был. Два года кувыркались. Я не работаю (сказал: на эту власть работать не пуцу. И не пустил), сам без пенсии, а тут еще и ты появился. Потом, уже после войны, из Барнаула какой-то контролер приехал, комиссия ли. Я про это вызнала и тайком от отца добилась приема. Разобрались, третью группу инвалидности дали, а это уже пенсия, уже не совсем чтобы подножный корм. За целый год из неоплаченных двух заплатили, остальное не дали. И на том спасибо.

Все это мне мама взрослому рассказывала. Рассказывает и не плачет. Я слушаю и тоже не плачу, только воздуху мало делается.

### 34

А есть еще и такая зарубка в моей памяти. Со слов родных, конечно.

Кожевенный завод, которым владели мои предки, был поставлен прадедом на реке Чистюньке в конце позапрошлого века. На какие средства? Да на то золотишко, что прадед, шастая в молодости по Уралу, раздобыл. В начале двадцатого века прадед умер, и хозяином завода стал мой дед Иван Романович. Тоже неслабый был хохол, по словам папы. А во время войны с германцем к деду на завод три пленных австрийца прибились. Папина сестра старшая возьми и влюбись в одного из них. Ну и закрутилась канитель. Иван Романович про это прознал и кулаком по столу бухнул, мол, запрещаю. А сестра была с норовом, хохлушка же: ах так! — и застрелилась. Из нагана... Австрияк, недолго думая, пошел на Чистюнь-

ку и утопился. Вот такие шекспировские страсти, но дело было, и в роду нашем об этом часто вспоминали.

Иван Романович завод свой на Чистюньке тогда порушил и поставил новый на речке Панюшовке, за Вавилоном. Вавилон — это село такое, название свое ведет от речки извилистой, теперь уже старицы. Там, на речке этой, на Панюшовке, папа мой юность свою и провел. Оттуда, из той усадьбы, он и на гулянки к девкам в Большую Панюшову мотался. «Выйду, говорит, вечером на луг, коня какого-нибудь из пасущихся распутаю, путо в рот вставлю, как удила вроде, тряпку на спину брошу и верхом через весь луг к Алею и пригоню, а там перед мостом (мост еще был тогда, и плотина была, и мельница, и Алея был широк и глубокий) коня обратно спутаю и пастись пушу. Конь пасется, а я с девками большепанюшовскими гулеваню. И коню хорошо, и мне ладно. Под утро через мост перейду, того же коня распутаю — и домой. Однажды возвращаюсь, на середину моста зашел, а из-под моста мне навстречу двое с колями. Я назад — и сзади двое. А не ходи по чужим девкам! Убили бы, но у меня под рубахой наган был, тот самый, из которого сестра застрелилась. Стрельнул загодя в небо, двое задних убежали, а передние в Алея сигнули. После этого все. Гулянки кончились. Могли и убить, дело такое...»

Там, на этих гулянках, он и маму мою высмотрел.

Мама из бедных была, но дед перечить сыну не посмел. Чем черт не шутит, дочка застрелилась, еще и этот грохнется...

А ниже — зарубка, как продолжение верхней, но уже из моей жизни.

Папа рассказывает:

— Мы с мамой твоей свадьбу в двадцатом году гуляли, в ноябре, после Покрова уже. Гостей понаехало! В ночь буран задул. Семнадцать дней дул, семнадцать дней и гуляли. — Смеется.

— А ели что? — спрашиваю.

— Как что? Бычков били, баранов, гусей...

— Сколько ж съели?

— А кто считал...

Я сижу молчу, в этой арифметике ничего не понимаю. Как это — кто считал? — когда у нас каждая курица сегодняшняя синькой помечена.

— Жили богато, а зачем революцию делали?

Батя на меня смотрит, потом в небо смотрит, потом матерится. Кстати, матерился он красиво, не зло и всегда к месту.

— А кто ее, революцию эту, делал, ты знаешь?

Я молчу. Я знаю — революцию делал Ленин, а Ленина я люблю. Вспоминается — «пионер, купи свечу...». Мне трудно все осмыслить, но кол сомнения в меня уже вбит и начинает прорастать, корешок пустил. Что-то здесь не так...

Недавно слушаю по интернету передачу о Мандельштаме. О, Мандельштам! Я его стихи люблю. В них столько непонятного и завораживающе-одновременно. А потому я его люблю не подряд, но все, что о нем, мне всегда интересно. Время — послереволюционное, двадцатые годы. Голодуха и в Питере, и в Москве. Бедный Ося кашу чужую съел. Воровски. Кашу! Его покараулить эту кашу просили, а он ее съел. Такой поэт и такой голодный! А тут баранов с гусями кололи и счет не вели. Как это все в одну веревку связать? Россия... А подумать — и сейчас так же: один икрой давится, другой веревку мылит...

Вот я все об отце да об отце, как будто у меня мамы и не было. Мама

была! Еще какая мама. Остановилось и на этом, на маминной жизни то есть, только это не мелочи какие-то, это суровые зарубки трудной судьбы. Родом мама была из крепостных барина Шмачкова Тамбовской губернии. Какая волость — не скажу, не знаю, да и не суть. После отмены крепостного права отец ее Яков перебрался с семьей на Алтай, где и обосновался в Большой Панюшове. Мама появилась на свет уже на Алтае. Жили бедно, но отец портняжил, и семья концы с концами кое-как, но сводила, и мама даже в школе с сентября до Рождества проучилась. На большее денег не хватило, однако и этой мало-мальской грамоты оказалось для жизни достаточно. И читать мама могла, и писать умела. Какие буквы ни корявые писала, но мысль в словах была ясная.

После того как вышла замуж за папу, жить перебралась в папину усадьбу, что на речке Панюшовке за Вавилоном. Первенца, мальчика, назвали Павликом. Но Павлику не пожилось. Семья у папиных родителей была крепкая — в смысле, зажиточная, и к дитю была приставлена нянечка. То ли молодая оказалась прислуга, то ли неловкая, но только сломала она Павлику спинку, и мальчика не стало. Павлик ушел, а мама затосковала, да так затосковала, что и свет не мил стал. И эта тоска довела ее вот до чего. Как-то после обеда прилегла она отдохнуть в спальне. Глаза смежила, а тоска-то вот она, тут, и вдруг чувствует, что Павлик ее рядом с ней лежит. Живой лежит и к титьке тянется. Мама в это верит и грудь ему дает. Павлик грудь принял, насосался и откинулся. Мама проснулась, рядом никого, а в грудях легкость и на душе светло. Ладно... На другой день это повторилось, а на третий день мама уже и обеда еле дождалась. Хорошо ей. В живых Павлика нет, а вроде и есть. Все бы ничего, бластитесь женщине хорошее — и бог с ним, да только молоко у мамы в грудях прибыло, а это уже беда. Так прибыло, что кофточка мокреть стала. Папа этого не видит, с ружьем по озерам шляется, а свекор приметил. Поговорил с мамой, понял, что к чему, и повез ее на бричке с речки Панюшовки в Большую Панюшову к бабке Коняевой. Бабка маму молитвой успокоила, молоко отсосала, тоску поубавила. Трижды дед ее возил к бабке. Трех раз и хватило. Было это перед осенью, а в ноябре мама белье в Панюшовке полоскала. Молодая была, жаркая. Ну и вошла в воду босая по колено. Сколько в воде простояла, не помнит, а дня через три ослепла. Наглухо.

Два года была слепой, день от ночи не отличала. И опять свекор, дед мой по отцовой линии (земля ему пухом!), всю канитель на себя принял. На Алтае разлом, колчаки, латыши, а среди этого наплыва вдобавок еще и свои герои. Из голытьбы.

Дед маму и в Барнаул возил, и в Ново-Николаевск возил, но лекари ничего сделать не могли, и тогда он повез маму в Алтайские горы к какой-то шаманке. Что из себя эта алтайка представляла, я не знаю, мама не описывала, слепая же была, а вот что она с мамой сделала, это я знаю. Примерно. Перво-наперво расспросила, конечно, а потом кровь мамину застуженную сцедила, для чего на висках маминых сделала по три надреза на «гусиных лапках». «Гусиные лапки» — это кровеносные сосуды на висках ближе к скулам обозначенные. Кровь спустила, глаза мамы сахарной пудрой присыпала, платком хорошенько перевязала и наказала: «Через три дня повязку снимите, но только чтобы ночью».

Эти надрезы, маленькие беленькие полоски, по три над каждой скулой, я до сих пор вижу, как наяву. Они незаметные, если не знать, но мама мне про это рассказала, и для меня они были заметны.

Зрение к маме вернулось. А потом — раскулачивание, Нарым, побег

в Среднюю Азию. Балхаш... Караганда... Нищета крошечная, да что говорить. Этой нищеты и мне досталось. Начнешь вмешиваться, не останешься. У думок конца не бывает.

Мама прожила девяносто девять лет и умерла у меня на руках. До девяноста она легко нитку в иглу вдевала, иногда и без очков. Потом стала слепнуть. Я ее и в клинику Федорова возил, что на улице Ярослава Гапека (это в Питере), где ей хрусталик хотели менять, но только опытный доктор мне сказал: «Не мучайте бабушку, у нее катаракта на обоих глазах, роговицы умерли, питания им нет». А потом спросил, откуда бабушка знает про сахарную пудру. В разговоре с доктором она просила его, чтобы он ей рецепт такой выписал, глаза пудрой сахарной присыпать. Я ему коротенько все и обсказал. Доктор улыбнулся и заметил: «С шаманкой ей повезло, могла бы и на всю жизнь без глаз остаться...»

А еще мама заговаривать болячки всякие умела — грыжу у детей, рожу, и кровь останавливала. Некоторые чудеса такие она на моих глазах творила. Об одном случае расскажу.

Дело это было, когда она уже со мной жила здесь, под Ленинградом. Я в то время рыбалками занимался и нет-нет гонял на машине к егерю знакомому, Вите Сускому, что в Нясино егерем значился и шлагбаум к устью речки Авлоги охранял. На пути к этому егерю надо было миновать еще один шлагбаум. Этот шлагбаум значился как пост «Волоярви», и был он близ озера Воляярви, а там постовал Михаил Петрович Дидора, бывший офицер — отставник, в смысле. Петрович дежурил круглосуточно, то есть жил там. Жить в лесу и хозяйство не держать? Завел, конечно. На этом хозяйстве в коровьем хлеву он себе ногу и проткнул ржавым гвоздем. Я приехал перед вечерней зарей, чтобы до ночи успеть сетки бросить. Ночи хоть и белые, а рыба все чует и зарю от ночи отличает. К шлагбауму подъехал, а Михаил этот Петрович из дому выйти не может, замок отстегнуть. Слышу, меня кличет, зайди, мол. Я зашел, а он от боли кричит. Левая нога красной рака вареного, распухла, и опухоль уже от подъема ноги к колену тянется. Мне такое дело известно, я сразу понял — рожал! Делать нечего, рыбалку я отложил и домой вернулся, благо, недалеко. Маме говорю — так, мол, и так, а она сразу — «вези». Пороху дымного взяла, тряпку красную, одеяло, и повез я ее к моему Михаилу Петровичу.

Рожу надо заговаривать три зори подряд. Пропускать зори нельзя, не рекомендуется по заговорным правилам. А сейчас была самая заря, вечерняя. Мама Петровича перекрестила, окурила ему ногу порохом, обернула красной тряпкой (надо почему-то обязательно красной!), замотала в одеяло, пошептала что-то и пообещала, что к утру боль стихнет.

Утренняя заря считается от восхода до двенадцати часов, вечерняя — от двенадцати часов до захода солнца. На следующий день я маму на пост привез к одиннадцати часам. Мы приехали, а Михаил Петрович уже веселый, боли почти нет. Утреннюю зорю проводили, а там через чуток и вечерняя открылась. Уезжая, наказала ему: «Сорок дней ногу не мочи и спиртного не пей». Вроде все, но нет.

Неделя не прошла, как Михаила Петровича военные Ржевского полигона на военном же узике привезли ко мне домой. Нога интересней стала, чем до лечения, морковного цвета сделалась. К нему, видите ли, помощники приехали огород пахать и картошку садить. Дело сделали, он им баньку протопил, а поскольку нога уже не болит, то и плевать ему на бабушкин наказ, он со всеми и помылся, и стопку выпил. Помощники уехали, а Петрович на стенку полез. Ногу разнесло лучше прежнего. Только теперь мама

ему отказала. «Не могу, — сказала, — не получится у меня. Возвратную рожу не лечу». И повезли Михаила Петровича в Ленинград, в госпиталь, что близ Суворовского проспекта. На улице Тульской, кажется. Увезли в мае, вернулся в сентябре. Рожа есть рожа, с ней не шутят.

А еще моя мама умела печь удивительные пирожки с мясом. Она как-то особенно готовила фарш. Такого вкусного мяса я не ел нигде, но самое главное было в том, что она этот фарш закладывала в тесто так, что когда я начинал есть пирожок, то мясо в нем было сразу в самом начале. Откусил если даже и немного, то мясо уже есть. Не тесто-тесто-тесто, а сразу мясо. И в конце тоже самое — мясо-мясо-мясо... и пирожок кончился. Как она это делала? Расспросить бы, подглядеть бы, но когда мама была жива, я об этом не думал, а теперь думаю... Господи, ну почему я всегда с опозданием думать-то начинаю?

## 35

Взрослые матерились все. Почти все. Но один матерился особо. Саша! Сашок...

Не пойму, в чем дело, слова матерные вроде те же самые, но так он их славно выговаривал, заслушаться можно. Не матерился — пел. Голос мягкий, прямо сладкий какой-то. Таким голосом девок хорошо улеживать. Как только начнет Сашок на подворье своем бисер матерный в жемчуга вязать, отец к калитке подойдет и на нас с мамой шикнет:

— Тихо! Не мешайте Сашка слушать...

А Сашок матерочки как бусы стеклянные звонистые на ниточку вяжет, вяжет, а под самый конец, словно кнудом пастушьим — щелк! — былки полынной как не бывало.

Когда-то давно на шахтах в Прокопьевске попал он в трагедию, и вроде как позвонки повредил. Оклемался, но мужиком стал никаким, а Зинка, жена его, баба в самом соку. Ей еще под облака ох как взлетать хочется! Под облака-то под облака, но есть дети, куда с ними? Двое. Сынок и дочка. А дети главнее полетов под небесами. Вот сидит Сашок на лавочке в палисаднике и удочки для рыбалки мастерит, большой был любитель пескарям губы рвать. Сидит, значит, делом ответственным занимается, а жена вся такая торжественная калитку открывает и до хаты идет. Дети детьми, а от неба как откажешься? Ти-ихо так идет, без гонору, вроде как побитая, но не шибко. Ага! Сашок лески кусочек у самого крючка откусит, тьфукнет его в траву — и с растяжкой:

— Зинк, никак от дяди идешь?

— Так от дяди, Саша, от дяди...

— Вот сука. — А сам поплавок прилаживает.

— Так сука, Саша, сука...

— ...мать-перемать, я же жрать хочу!

Тут из Зинки все и выплескивается.

Она встанет, руки свои красивые в бока свои цветастые, в самые мяса, воткнет, телом богатым выгнется — и нараспев:

— Ой, Сашуля! Так я пока там кувыркалась, только о тебе и думала — сдох, нет...

— Вот баба так баба! Все прогуляет, а мужа не забудет! — Хохотнет негромко, про себя как бы, и кнудом своим матерно-пастушьим у самых зинкиных копыт — щелк! Щелк!

Зинке весело и не страшно.

Я уже выше писал, что отец смолоду хорошо выпивал. Это со слов мамы. Потом раз и навсегда бросил. Стопку, конечно, позволял себе — застолье какое там или у костра с мужиками под парного карасика — под уху, в смысле, — но не больше. Пить не пил, но бутылки с зельем просто обожал. Зная эту батину страсть, старший брат, который Иван (офицер), обязательно каждый год присылал ему посылку с винами-водками из Ленинграда. Выбирал бутылки с этикетками покрасивее. Отец посылки получал, вскрывал, вынимал бутылки, любовался ими и ставил на долгую стоянку в шкаф. Был у нас такой шкаф, под современный буфет сработанный, со стеклами, с дверками, с вавилонами всякими, и стояли эти мадеры и коньяки в шкафу рядами. Но это уже не в землянке, из землянки мы уже вылезли. Как только сестра Нина со снегоборьбы перешла на железку, то ей разрешили выписать старые шпалы, из этих шпал отец дом деревянный и поставил. Брат помогал, старшая сестра Люба, что в Семипалатинске жила, и, конечно, Нина. Дом этот и по сей день стоит, и живет в нем сейчас Иван Нохрин, мы с ним в школе вместе учились в одном классе. А напротив сейчас живут в одном доме, на две части поделенном, братья Иван и Виктор Растягаевы, сыны того самого дяди Андрея, у которого в голове пуля была. Дом этот дядя Андрей сам и строил. Крепкий был мужик, чего говорить, хоть и пулей в голову битый. Пишу «пуля *была*», потому как дяди Андрея уже нет среди нас, ушел. Вместе с пулей...

Пойдем дальше.

Вот. Когда брат в отпуск приезжал, он, опять же, привозил бутылку-другую, отец их брал, прятал в шкаф, а из шкафа вынимал какую-нибудь прежнюю. Говорил: чтоб не совсем выдохлась. А поскольку брат до выпивки был не особо охоч, то бутылки-другой ему на весь отпуск хватало.

Наш сосед, Сашка Быстров, приклатненный такой. На все про все говорил категорично: «Это не проблема». Так и получил уличную кличку — Проблема. Он отсидел в тюрьме пять лет за подделку облигации. Ходил всегда нафраеренный, в хромовых сапогах и в рубашке с отложным воротником. Блатной не блатной, но голодный точно. Ходил, значит, ходил, ну и пристал как-то к отцу — продай, мол, дядя Вася, бутылочку или за так дай. По дружбе, мол, по-соседски...

А отец ему:

— Пойдем, Саша, пойдем... — И в избу его заводит. Завел и шкаф перед ним распахнул. — Видишь?

Сашка от такого изобилия обомлел. Еще бы! Он, конечно, знал, что у дяди Васи есть выпивка, слух ведь не лежит, он ползает ведь, но чтобы столько красоты в крестьянской избе в одном шкафу и сразу — это свихнуться можно!

— Вижу, — говорит. А сам чуть не задыхается от увиденного.

— Ну, — говорит отец, — посмотрел, а теперь дуй отсюда...

Вообще-то он сказал не «дуй», он сказал крепче, в смысле «пи...», я сам слышал. Но Сашка не обиделся. Наоборот! Мне показалось, что он был в восторге. Ушел и случай этот по всей улице разнес, к вечеру про это знали все. Улица над ним посмеивалась, но он был счастлив. Такая красота! Столько бутылочек! Е-мое...

Голос у отца был приличный в смысле пения. Как и у мамы, кстати. Голос был — значит, и слух должен быть, а вот на инструментах музыкальных он не играл. Ни на каких. Даже на ложках. Но попытку научиться-ся такой игре делал.

Рассказывает, как он учился на гармошке играть.

— Родитель спрашивает: «Ну, будешь на гармонии играть — куплю». Я подумал — валяй, говорю, буду. Отец специально в Барнаул ездил, привез гармонию. Хорошая гармошечка, блестящая, двухрядная. Хромка, что ли... Поддергал я ее поддергал, потом собрал друзей, и пошли мы с этой гармошкой зайцев по околкам гонять. Охотились. По морозцу, по снежку. Некрепкая гармошка оказалась, на день только и хватило...

— Что отец? — спрашиваю.

— Да ничего, больше не приставал...

Одно из самых ярких впечатлений детства — град. Лет десять мне было, а может, чуть больше. Мы, пацаны, зорили на Алее стрижей — в смысле, выслеживали их и потом из норок крючками специальными вылавивали. Добудем стрижа, подержим в руках и отпустим. Новых выслеживаем... Дело это, конечно, никчемное, но нам было интересно. Торчали мы как-то под обрывом, где Карнаковы жили. Торчали, значит, на небо не смотрели, все за стрижиными норками следили, стрижей загоняли. Июль, жара... Когда тучу увидели, уже убежать поздновато было. Туча зашла черная, с белесыми кривыми полосами. Как сейчас вижу: полосы кривые, по черно-синему в дугу закрученные. Ого-го! Подбежали мы к ворожбитовскому бугру — дождь хлестанул. Такого крупного дождя я в своей жизни больше и не видел. Облил он нас лучше, чем из ведра. Но благо, уже мы на улице Омской были. К Касиловым на веранду заскочили — град врзал. Какие градины! Зеленые, в кулак! С юга ветер развернется — ту-ту-ту! — чистые окна с юга, с востока закрутит — восточные чистые, в смысле, пустые, без стекол. По дороге курица бежала — бах! — только ногами задрыгала. Минут пять рубка шла. Малая Панюшова зеленой была — черно-белой стала...

Кончился град, а по улице идти холодно, градин по щиколотку, мы ж босые.

Домой прибежал — в избе ни одного стекла, мама в слезах, подушками окна затыкает и по мне плачет. Увидела живого — успокоилась, а отец на рыбалке. Что там, как там?..

— Возьми, сынок, ведро, сходи на солонцы, утят собери.

На солонцах побоище! Гуси валяются, козы битые, теленок в луже ледяной вверх ногами торчит. Мокро, холодно! Где, думаю, в этой пропасти утят искать? Уже обутий, иду, градины сосу, ведром громыхаю. Подхожу к озерцу, что под бугром как раз ниже магазина «Беленького», а навстречу — утка с утятами! Телепаются за уткой, градинами шелестят, плакают. Все живые!

В стороне от этого затхлого озерца, метрах в тридцати, — две цистерны валялись брошенные, в землю солончаковую на полметра вросшие. Колхоз какой-то не вывез, а может, нефтебаза, есть такая в Алейске. Уточка наша была не простая, кряковая подсадная. Из диких, только одомаш-

ненная. Чуть-чуть ее утиное дикое, видно, и подкасалось: град, мол, будет, спасайся, уводи свое потомство за эти бочки огромные. А иначе как? Все в округе битые, а она живая.

Отцу этого не досталось. У нас град хлестал, а они с дядей Ваней как раз с Карасево ехали. Карасево — это озеро, что севернее нас, за Украинкой и как раз напротив Безголосово. Град от них отвернул; еще бы чуть-чуть — и неизвестно, что бы было. Подъехали они к Большепанюшовскому бугру, глянули с илбана, а Малая Панюшова лежит внизу размазанная, черно-белая.

В степях тогда, где этот град прошумел, многих людей захлестало, о скотине да о птице уже и не говорю.

Три моих друга под эту раздачу попали. Ребята Прошины — Вовка, Толька и Колька. Тоже на Алее торчали, но в другом месте, «под Лодкой». «Под Лодкой» — это название переправы лодочной. Добежать друганы успели, слава богу, до ямы, где бабы глину для подмазки брали. В этой яме и перебеदовали, друг под друга лезли. Колька из них младшенький, и старшенькие им как щитом прикрывались. Всем досталось, но Кольке особенно. По ушам. Однако спаслись, выжили — и по сей день живут и правильно делают. Здоровья им и всех благ...

К слову пришлось, а потому добавлю маленько об утках батиных подсадных. Были эти утки — от диких не отличить. Каждый год выводили утят штук до двадцати. Лето проходило нормально, утята росли, оперялись, и ближе к осени весь этот табун на крыло становился. Ничего-ничего — и вдруг однажды утиный косяк почти диких уток (навскид никто не поймет, что домашние!) поднимается с солонцовского озерца и низенько без кругов летит к нашему огороду. От огорода до озерца метров триста. Представляете? Зрелище еще то! То, что летают, ладно, а вот то, что могут подняться и смешаться с дикими, которых в августе мотается уже много, это плохо. Улетят с дикарями за Алей, а там двуногие с ружьями! Утки наши людей не боятся, тут же и попадут в лапшу, и винить некого. Как только батя такой перелет увидит, тут же их в сарай загонит и меня в помощники позвет крылья подрезать. Я их всех переловлю, батя их обкорнает, и станут они снова пешеходами. И это уже до снега. А снег придет, всех лишних в расход отправят, а из уток папа выберет самых голосистых, и останется в зиму три-четыре крякухи да пара бусых красавцев селезней, из которых один по весне, еще до начала линьки, тоже будет израсходован. С мужскими делами и оставшийся справится, а лишний рот (клюв, в смысле) в хозяйстве ни к чему. Вот такая крестьянская бытовая арифметика. И не переиначишь...

К этой семейной мясозаготовке добавлю еще и такую.

Осенние месяцы, которые сентябрь и октябрь, вошли в мою дошкольную и школьную память тяжелыми, уставшими от больших переходов стадами колхозного скота. Эту скотину гнали по солонцам со стороны сахарного завода ежедневно и не по разу. По солонцам, мимо Гончарной улицы, на луговину, под железнодорожный мост и к мясокомбинату в отстойник. Всю осень! Дождь, не дождь... Верховые на взмыленных лошадях, скотина в грязи. А разве можно чистыми быть, когда под копытами осенняя распутица и к тому же солончаковая. Откуда столько скота набиралось, ума не приложу. И все это на наш маленький алейский мясокомбинат! Комбинат надувался, пыжился, но справлялся. Кони, телята, овцы... Отстойники стонали от этой животины. Здесь обреченных держали сутки — а то и двое — без еды, без питья, чтобы они опростались и

под нож шли пустые. Воронья кружилась! Составы рефрижераторов, набитых мясом, уходили и уходили в сторону Барнаула. В магазинах мяса не было, не полагалось, однако в кой-каких домах оно водилось. И мясо это было всегда бескостное! Рабочие приворовывали, а их родственники приторговывали. Не всех, конечно, но кой-кого такой расклад устраивал. Уже много позднее, когда я очутился в Ленинграде, я понял, куда отправлялись те рефрижераторы...

## 39

Виктор Хилинский в годах мне равный будет почти. Года на три моложе. Эта главка не из моего детства, эта мелочь из его детства. Родом он с Украины, под Киевом жил, там жил и там свое хлебал. Моемся в бане, паримся, пиво с воблой посасываем, жизнь вспоминаем, он и рассказывает:

— Лазили с пацанами по озерам, камыши рвали, кашку да рожки ели. Вымокли!.. Развели в кустах костер, сушимся. Дело перед уборкой. Хлеба в полосах стоят желтые, колосья шелестят — далеко слышно. Сушимся, значит, а тут вертолет налетает. Пожарный. Спустился над нашим кагалом и орет — вроде как погасите, мол, костер. А мы ему в ответ — аля-ля! у-лю-лю! — жесты всякие выделяем: вот, мол, тебе, а не костер. Вертолет такой обиды не стерпел, трубу толстую высунул, на нас направил и как дунет пеною желтой! Фу... Он улетел, а мы остались стоять в дерьме каком-то желтом, в пене. И одежда, и мы с ног до головы...

Я Виктора слушаю, улыбаюсь и свое вспоминаю. Один в один почти, только нас на Алтае не вертолеты гасили за такие костры, а объездчики на верховых кониках догоняли и бичами пороли. И за костры пороли, когда хлеба желтеть начинали, и за клубнику полевую перед покосами. Мы ведь клубнику когда собираем, то на коленках ползаем. Ползаем безобидно, но трава после нас в лежку лежит — и косить ее трудно становится. Вот и гоняют нас, вот и порют бичами. Пороли не шибко, один раз только, с оттяжкой. От этого раза у Юрки Добровольского полоса синяя со спины две недели не сходила. Жить больно, вспоминать весело, вот ведь загадка какая интересная...

А может, вертолета и не было вовсе, может, придумка это. Вертолеты пожарные, хоть и под Киевом, в конце пятидесятых в прошлом веке были, нет? Я не знаю...

## 40

Где-то я читал, что у Кучума сын был, Алеем звали... А еще недавно прочитал, что у Кучума еще Ишим был. Тоже сын. Утонул в Ишиме. В реке. То, что Алей в Алее утонул, не слышал, но по всем статьям выходит, что в честь этих отпрысков ханских и реки были названы — одна Ишимом, другая Алеем? Одна в честь утопленника, другая — в честь воина. Если Алей, то уж обязательно воин. Иначе нельзя, потому как имя очень красивое, не хуже, чем Руслан. Может, и так.

Алей... Слово это говорю, словно песню пою! Все мое детство и вся юность с этой красотой связаны. Неширок, берега песчаные, с глинистыми пополам. Если Алей загибает русло влево, то справа будет обрыв, а слева отпесок. Отпески пологие, как раз для купания, для рыбалки. Если Алей загибает вправо, то обрыв слева. И т.д.. Течет он с гор Алтайских, и

вода в нем голубая с мутноватым привкусом. Хорошая вода! Все детство я ее пил, и те, кому случалось, тоже пили и воду эту не хаяли. Рыбы в ней было столько, что казалось, ни в жизнь не иссякнет. Большие пацаны за утро по ведру чебаков налавливали. По весне стерлядь из Оби заходила. До сих пор помню — в мае встанешь пораньше и до школы штукеч десять на удочку и добудешь. Сейчас все изменилось, Алей обмелел, вычерпали его где-то выше, в Рубцовске, что ли, берега его заросли чащей, рыба поредела. Воду из него уже не пьют.

Тягу к Алею с самого детства я имел несусветную. Я им просто бредил. Я знал все переходы, облазил все стрижиные обрывы до самой Большой Панюшовой, знал все бормышинные места. Бормыш — это козявка такая, живет в глине, в реке. Вся рыба, что в Алее водилась, козявку эту всем другим наживкам предпочитала. Я опять отвлекся. Так вот, тягу имел несусветную, и соседка наша, та самая тетя Маруся Березикова, в самом еще детстве моем меня пугала:

— В Барнауле удавы из клетки уползли, говорят, их на Алее видели, так что ты, Витька, смотри...

Я верю. А что удавы? Удав — это же Каа. Маугли... Ну, там он добрый, а тут какой? К Алею не подхожу — крадусь: а вдруг и правда удав. В каждой палке, в каждой коряге теперь змеи мерещатся. Удавов, конечно, не было. Удавов не было, а воображение разыгрывалось.

## 41

Рыбалка для меня — все. Рыбалка — это таинство, это сокровенное, это мой мир, который я в себе взрастил, взлелеял и никого сюда не пускал. Удочки делать меня научил отец. Удилищ фирменных не было, чаща применялась. Хлысты у чащи кривые — в смысле, изогнутые, а хочется же попрямей. Отец учит:

— Чащину ошкурь и, пока она сырая, к бревну ее на солнышке прикрепи. Как выровняешь — так и получишь.

Удилища на солнце высушали и получались ровные, а это уже половина успеха. Позднее Иван (брат мой) мне из Ленинграда бамбуковые удилища привезет. Ни у кого бамбуковых нет, а у меня есть! Сказка...

Теперь о наживке, о бормышках. Бормыш — это название местное, наше. Правильно, наверно, мормыш, но мы зовем бормыш, и взрослые зовут бормыш. А недавно и по ютьюбу услышал от рыбаков это слово. Значит, есть мормыш, а есть и бормыш. Беленькая козявка, сантиметра три длиной, с зачатками крыльев, она похожа на личинку стрекозы. Водится в Алее и в Чарыше, а дальше я не знаю. Живет бормыш в воде, в глине, роет норку и лежит в ней, как в пенале. Иногда выползает наружу, лихо плавает, но от рыбы ему не спастись.

Для утренней рыбалки нужно бормышей штук сто. Мы за ними ныряем. Дело это непростое, это целая наука и постигается с годами, с взрослением. Нужно определить место, где ты нырнешь, заплыть на это место, потом, занырнув, прижаться грудью ко дну, к глине, чтоб течение не сносило, руками отвалить кусок глины, прижать к груди и бегом по дну к берегу, где и грохнуть эту грязь на сухое. А потом встать в воду на колени, и, поливая эту глину водой, выбирать добытую прелесть. Бормышы на поливочную воду вылезают из глины сами, им без воды никак. Они вылезают, а ты их выбираешь и — в баночку с водой, в баночку с водой... По штукке, клацая зубами от холода и считая: тридцать один... тридцать

три... Сто! Этого достаточно. Теперь нужно добытых бормышей промыть, воду слить, а козявочки этих пересыпать сухим песком, и уже дома взять у мамы сито, высыпать их в сито и поставить в холодильник на крышку погребка и укрыть. Не дай бог куры найдут. Склюют враз!

Однажды у нас с друзьями Прошинными подобное было. Готовились мы к утренней рыбалке и дружно ныряли за бормышами «под Лодкой». Бормышей мало, все перерыто уже не один раз, но мы упорно ныряли и ныряли. Мы — это Вовка Прошин, Толька, Колька и я. Толька и Колька — тоже, конечно, Прошины. Бормышей складывали в одну банку. Замерзли, аж посинели. Июль июлем, а когда ныряешь раз за разом, да еще под легким ветерком, то гусиной кожей покроешься быстро, ну и посинеешь, конечно. Наныряли мы бормышей почти полную консервную банку. Решили, что достаточно. Промыли их и стали сами от глины отмываться. Как мы прозевали ватагу бредущих по берегу пекинских уток, до сих пор не знаю. А утки — «га-га», «кря-кря», да с дракой за добычу — сметелили все враз на ура. Мы и ахнуть не успели. Такое горе! Рыбалка наша утренняя в тот раз не состоялась. Погоревали мы погоревали, но лето же вон какое длинное...

Не скажу, что я в рыбалке удачлив был, но по полведра чебаков за утро налавливал легко. Иногда в прилове и подъязки были. Подъязок, или язь, — это уже мастерство, шик.

Каждый год в середине июля бормыш из глины выходил и сбрасывал шкуру. Этой кожуры в такие дни по Алею несло — белым-бело, в смысле серо. Пока бормыши шкурки сбрасывали, а сбрасывали они свои кожи в воде, то есть из норок выходили наружу, рыбки алейские их и подъедали. Чебаки с окуньками тут как тут. Наедались так, что клева на реке не было дней пять, а то и больше. К этому надо добавить, что бормыш, шкуру сбросивший, становился мелким-мелким, с сантиметр, и рыбачить на него было неудобно. Подрастал он быстро, к концу июля набирал и толщину, и рост — а пока суть да дело, рыбачить начинали на кузнечика. Попробуй их наловить, чтобы много было. Занятие еще то! Но и тут выход был. Берешь у мамы занавеску тюлевую, а еще лучше полотно марлевое — и с напарником, развернув эту снасть, как бредень, пробежишь по траве, свернешь быстренько снасть в комок и выбираешь потом кузнечиков из этой марли. Три-четыре забегаша сделаешь — и рыбалка обеспечена, кузнечиков было очень много. Чебаки их любили. Не так как бормышей, но все равно...

Одну рыбалку очень хорошо помню. Перемет ставил. Забрасываю, а сноровки еще нет, тетива по руке — шмыг! — крючок в указательный палец по ушко сел. В самую подушечку. Отрыбачил кое-как, прихожу домой, палец распух, синий. Отец посмотрел на это дело и говорит:

— Подумаешь, седьмой номер... Я с жерлицей в ноге все лето бегал и ничего...

Так то в ноге, а тут... В пальце же, больно же...

И повела меня мама в Алейск через все грязные солонцы, как телепочка на веревочке, к дяде в белом халате, который врачевал в поликлинике около ДК имени Горького. Такая даль! Облил мне доктор палец холодом, аж заиндевело все, даже слышно было, как кожа под скальпелем хрустела. Добыл крючок и мне отдал. Рыбачь, говорит, и дальше, но сюда больше не приходи. Из всего этого самое яркое потом — когда холод отходить стал. Все, что было до этого, это не боль — так себе, игрушки... Палец в бинтах, белый, толстый, на эскимо похожий. Эскимо я в кино ви-

дел. Пришел домой, сел на бревно и подвываю не очень громко. Не то чтобы подвываю, но кряхчу натурально. Интересно: гундишь когда, то не так больно, а кряхтеть перестанешь — хоть с ума сходи. Сижу, значит, гундю потихоньку, слез нету, плакать стыдно же, здоровый уже, а тут тетя Маруся, та самая, откуда ни возьмись.

— О чем песня, Витек?

— Ни о чем, — говорю. — Надо было заголовочек слушать...

— Са-ха-ловок, — передразнила тетка. — Тоже мне, Мамин-Сибиряк выискался!

У меня от такого теткиного наплевательства палец вдруг болеть перестал и в памяти зимовка высветилась: Музгарко помирающий, хозяин, медведем ломаный, петух, которого вместе с котомкой волк утащил. Вот где больно так больно. Что это я раскряхтелся?.. Да и боль уже стихла. А вот Серой Шейке повезло. А если бы не старичок с ружьишком. А если бы... да если бы... Вот если бы я перемет правильно ставил и не спешил бы, то и не сидел бы сейчас, не гундел бы... А откуда тетка Маруся про Мамину-Сибиряка знает? Матершинница, курит... Поговаривали, что и в тюрьме сидела, и нате вам — Мамин-Сибиряк!..

А отцу жерлицу в Барнауле вырезали. До осени он с ней в ноге бежал, пока дело до обувки не дошло. Тоже, наверно, замораживали, тоже, наверно, песни пел...

Ему, значит, в Барнауле петь пришлось, мне, стало быть, в Алейске.

Больше пятидесяти лет прошло, а шрамик на пальце не исчез. Присмотрюсь — есть, родимый, тут. И шрамик есть, и Музгарко помнится. Вот и решай, как одна шестеренка за другую цепляется, что это за редуктор такой хитрый в голове сконструирован. Нечаянно за ниточку потянешь — и все мозги в движение приходят.

## 42

В нашей школе учились не только мы, малопанюшовские, но и ребята из близлежащих деревень. Жили они у разных стариков и старушек — как правило, неродных. Постояльцами были. Что их родители этим старушкам платили, мне неизвестно, да и не в этом суть. Петька Кудлаев из таких постояльцев был и учился со мной в одном классе, в третьем. Жил он на Вавилоне. (Или в Вавилоне? Мы говорили — «на».) Вавилон — это село, распложенное на гриве по ту сторону Алея. Красивое село, в тополях. А какой там сад яблоневый! Яблоки, правда, зеленые, кислющие, но разве в этом дело. Потом я напишу:

Дед бабахнул из ружья!  
Я бегу, собак шугая.  
Соль-то горькая какая!  
Добежать бы до ручья!..

— и т.д.

Но это будет потом. А пока разговор о Петьке, о Кудлаеве.

Живет пацан нормально, учится, самосад покуривает, нас угощает. Неделю учится, а на воскресенье домой уходит. Ходит он пешком, идти ему километра два ли, три — по льду через Алей, потом по лугу, потом на гриву и уже дома. В понедельник пораньше встанет и потемками один-одинешенек по снежку — хруп-хруп — в школу и зайвится. Это, если, конечно, не буран.

Так вот, дело было в феврале, в самый акkurat. На дворе не буран. Идет, значит, Петька утречком, темновато еще, но видно. Идет-идет и вдруг — волки. Из тумана! Пять штук, дугом. Наш Петя и сомлел, убежать — ноги не несли, да и куда бежать-то, кругом луг. Сомлеть-то сомлел, но к столбику межевому прижаться сообразил. Присел, прижался к столбику, глаза прикрыл и затих. Волки подошли, обнюхали пацана, покружились около, потоптались и ладно. Обоссали только, все по очереди, а так ничего. Он потом рассказывал, что даже носом их запах волчий учуял. Это дело долго обсуждалось взрослыми, и порешили, что волчица попалась не злобная, она не тронула — волки не тронут. А Петьку «обоссаным» дразнить стали. Дразнить дразнили, но уважали. Волки все-таки.

Только с той поры ни Петька, ни многие другие постояльцы ни пешком, ни на попутках после каникул да выходных в школу не добирались, в кошевках приезжали. Председатель колхоза вавилонского (им. Фрунзе, что ли?) об этом случае узнал, и для Петьки стали персонально выделять и коня, и ездового. Вот не волки бы если, то так и ходил бы пацан ножками — пешедралом, то есть.

## 43

Конец апреля, начало мая — земля открылась, полянки подсохли, и начинается игра в бабки. Всю зиму мы эти люхи и панки собираем. Мамы наши холодцы варят; ноги скотьи (читай, говяжьи) нет-нет да и продавали в магазине при мясокомбинате. А кто и свою скотину в зиму колол. Начинает мама холодец разбирать — я уже рядом, сижу и косточки обсасываю. Вкусно... Бабки обсасываются с особым тщанием. Бабки должны быть чистыми, обсосанными до нуля, что говорится. С такими бабками не стыдно и в игру вступать. Нет бабок — плати денежки. Одна бабка — одна копейка. Две копейки под бабку на кон поставишь, получишь право на один удар битком. Биток у каждого свой. Обычно это свинцовая отливка — блинчик такой, типа оладушка.

И вот в самый игорный базар отец вдруг и скажет:

— Завтра с обеда в Карпеновку поедем. На рыбалку. Поедешь со мной.

— А в школу?

— Школа не прокормит...

Я не спорю: мне-то что, я еще не знаю, что я учусь для себя, я еще думаю, что я учусь для родителей и все мои четверки и пятерки я получаю для них. А раз так, то им видней, на рыбалку так на рыбалку. В школе не шумели, понимали, наверно, и на недельные мои прогулы глаза закрывали, одним хулиганом меньше — в смысле, баба с возу — кобыла рысью... Тем более, что учился я хорошо.

Осенью та же картина. Ребята в школу, а я с батей по озерам... Уток стреляем, рыбу ловим, ондатр. Все сентябри. До одиннадцатого класса. Прогуливал, конечно, не в сливную, а так — дня три-четыре с ружьем, с сетями, а дня-три-четыре в школе. И ничего, успевал и там, и там.

Сборы на рыбалку — это ответственно. Ездили на корове. Туда с отцом, а рыбу домой я возил один. С рыбой — один и за рыбой — один.

Позднее об этом напишу.

Луг росистый, луг белесый,  
Солнце брызжет под колеса —  
Впереди двенадцать верст!  
Не спеша везет корова.  
Подо мной мешок с половиной.  
Ни обиды и ни слез.

Я привык два раза на день  
(Что поделаешь, коль надо)  
Совершать вот этот путь —  
Через мост над речкой синей  
Посреди страны России.  
Мне бы только не заснуть.

Грай ворон над росным лугом —  
Друг за другом, круг за кругом  
Облетает воронье  
И кричит, не умолкая...  
Песня верная какая  
Про мое житье-бытье.

Как! Да — как! — висит над полем.  
А — никак! Совсем не больно,  
Даже больше — красота!  
Вон — корова, шаг отменный,  
И рога как две антенны,  
Жалко — музыка не та...

Я корову не ругаю,  
Я корову понимаю,  
Разговор с коровой прост:  
Я вздохну — она вздыхает —  
И шагает, и шагает  
На зарю... Двенадцать верст.

...Выйдет батя на дорогу:  
— Ну, поспели, слава Богу... —  
И, неближний путь кляня,  
Он меня с телеги ссадит,  
Улыбнется и погладит  
И корову, и меня.

Потом коровы не стало, и ездили мы уже на коне дяди Вани Мещерякова, а потом, когда дяди Вани не стало и Голубка не стало, мы уже ездили на коне, что отцу заготконтора выделяла по договору под пушнину, которую мы капканами добывали.

Из всего скарба очень хорошо помню чайник. Это был полуторалитровый алюминиевый бидончик с обгорелой деревянной ручкой. Чай в поездках заваривали смородиновым листом. В наших забоках кустов черной смородины было много, Алей по весне сильно разливался, смороду половодьем и заносило. Чайник этот смородиновым листом пропах насквозь. Всю зиму он висит в сарае на гвозде, а по весне снимешь его, бывало, носом в нутро уткнешься и потянешь — сморода...

Дядя Ваня Мещеряков жил покрепче нас, у него конь был в хозяйстве. Редкое это дело по нашим тем временам. Такое богатство! Крестьянство, нищета и вдруг — конь! Звали этого коня — Голубко.

— Почему Голубко, — спрашиваю, — карий же, Карька должен быть.  
— Нет, — говорит дядя Ваня, — Голубко...

Надо бы расспросить до конца, сейчас бы знал, почему Голубко. У коней как: вот рыжий — вроде Рыжко должен быть, но грива и хвост светлые, и уже — Игрень. Может быть, у Голубка глаза были редкостной подцветки, голубые, например. Вот не помню. Ладно...

Голубко — конь хороший, но с покором. Ходил только шагом. Везет телегу и взад косится — то через левый гуж, то через правый. Если вожжой по крупу его стеганешь, а он, не дай бог, увидит, задним копытом тут же по передку телеги бьет — ответно. Отец с дядей Ваней приспособились вот так: один садится на телегу справа, другой слева, в руках у них палки.

— Ну, Витька, держись, Голубка разгонять будем!

Голубко через левый гуж косится, отец его справа — бах! Он через правое плечо косится — дядя Ваня его слева, а он, что главное, если удара не видит, то копытом не бьет. Раза по три-четыре аховячат — и побежал наш Голубко, только селезенка заекает. Теперь бежать будет, пока «тпр-ру» не скажут. Скажу честно, били они его не шибко, но били, вот ведь горе, и было мне Голубка чуть-чуть жалковато. А с другой стороны, нам же побыстрей надо...

Едем однажды по весне Карпеновским лугом (есть в природе и такой луг — Карпеновский) — название, конечно же, от деревни Карпеновки. А еще там есть рядом деревня Морковка. Придумали же... Едем, значит, на телеге; мы с дядей Ваней сидим, а отец рядом идет, кости разминает. Около меня лежит ружье, и я его придерживаю рукой, хотя оно и так не свалится, но оно заряжено, и придерживать его мне очень нравится. Налетает пара кряковых. Уточка впереди — весна потому что. Отец стреляет, селезень падает. Потом он меня будет учить: по весне переднюю летящую не стреляй, бей заднюю, это завсегда селезень будет.

— А теперь я стрельну, — говорит дядя Ваня, и они с отцом меняются местами.

Уток нет, зато налетают грачи. Дядя Ваня на выстрел выбивает двух. Зачем грачи, когда для супа уже селезень есть?

Потом разбираем лагерь, телегу укрываем палатками всякими, клеенками, чемодан с продуктами под телегу прячем. Однажды не спрятали, а Голубко подошел, когда нас не было, крышку чемодана откинул (умный же!) и весь хлеб съел. Спускаем лодку на воду, папа уплывает сети ставить, а я Голубка путем путаю и пастись пускаю. Конь — это моя обязанность. Отвести, привести, спутать, распутать, водой напоить. По возрасту и тяжесть. А дальше — я по лугу шляюсь, лук полевой к ужину рву, гнезда дикие шарю. Яйца утиные не хуже куриных по вкусу будут. Дядя Ваня за кашевара, суп к ужину варит.

Я тогда частенько думал: чо они меня с собой по этим рыбалкам таскают? Проку от меня чуть. Теперь я знаю, что отец меня ради меня же по этим степям да озерам таскал. Пацаны все дома, а дома что? Улица, огороды, солонцы с привокзальными окурками, ну и Алей, конечно. А тут! О!.. Я, благодаря папе, всю степную алтайскую красоту насквозь прошел, и столько этой природы в себя вобрал — до смерти, наверно, хватит. Пишу и папу вижу. Жилистый такой, ветрами и солнцем просмоленный. А какой он был на ногу легкий! В шестьдесят лет он мог весь знойный июльский день ходить по степи от капкана к капкану, от суслика к суслику. Тогда я всего этого не видел, не осознавал. Теперь вижу. Но это уже теперь...

Я отвлекся.

Завечерело. Отец с сетей приплыл, первых карасей и линей в садок опустили и ужинать легли. Ели лежа у костра. Расположимся, кому как удобней, луку накрошим, хлебушка домашней выпечки нарежем... А вокруг тишина, только луг разговаривает на птичьих языках. Утка крикнет, чибиб обрыдается, коростель раздерет полено... Господи, жить бы да жить!

Едим суп. Суп вкуснящий, мясом пахнет, костром. А я и молодой, и голодный к тому же.

— Как мясо, Витек? Уварилось? — Это дядя Ваня. Отец молчит.

— Вкусное, — говорю, а сам наворачиваю, только зубы хрустят. Дичина синяя, худая, одни жилы... Откуда жиру-то взяться, весна ведь.

Поели суп, попили чай из бидончика, того самого — черного, загорелого. Чай — сморода! Листа еще не было, так мы веточками заваривали. Так же пахнет.

К вечеру заходило. Стелились на земле. Сенца прошлогоднего под низ накидаешь, камыша туда же, метелок тростниковых, тряпок семейных, и можно спать. Мне всяко тепло: я сплю между двух мужиков — хочешь не хочешь, а не замерзнешь. Сверху нас одеяло укрывает. Мамой сшитое из цветных лоскутков, ватой стеганное, оно такое широкое, что подоткнуть с боков можно. В головах не подушки будут — фуфайки. Постелились, я фуфайку с телеги потянул, а из нее селезень выпал. Опля! Я все понял, но мне это не страшно, меня не стошнит, суп из грачей я и раньше ел, а мясо для меня любое — одного вкуса. Мясо — оно мясо и есть. Лишь бы не чайка какая, крачка-черноголовка...

## 45

Рыбачим на Чарышских россыпях. Отец, Волоха Мещеряков (это уже сын Ивана Игнатьевича будет), Иван Чулков беспальный — мужики, и я при них как сопля при насморке. Беспальный, значит, без пальца. На правой руке у него большого пальца нет, где-то на пилораме отстегнул, но это ни ему, ни нам нисколько не мешает. В лугах сентябрь, утки на крыле, комбайны пшеницу стригут, пацаны в школе, а мне не до чистописания. Школа не прокормит...

Сети раскинули в двух озерах сразу. С двух лодок. Лодки резиновые, из «белорусских» камер сработанные, очень легкие и очень ловкие. С одной лодки папа ставит сети, с другой — Волоха. Иван на подхвате, а я с папиным ружьишком шляюсь. Никого не стрельнул, уток уже хорошо поколотили охотники, и они, стрельбой напуганные, летали высоко, и если садились, то в такие густые камыши, в такие плотные, что их оттуда ничем не выгнать. У сентябрьской утки линька идет, в последние дни она еще слабая и забивается в самую густоту, чтобы ей там доинять было спокойно.

За ночь карасей в сети ввалилось — гора. Выбирали из сетей все утро. Разные караси — и трехперстные, и пятиперстные, из которых были и по килограмму. Прикинули мужики: не поместится рыба в садки, не вернуться ей там будет. Что делать? Домой везти, так это более двадцати верст в один конец, за день, чтобы туда и обратно, не управисься, клади два дня. А лошадь как? Загрустили: и ехать — плохо, и не ехать нельзя. Карась в озере поднялся ненадолго, день-два — и снова в ил заляжет. Тут Волоха и говорит:

— А че, дядя Вася, Витька-то вон какой герой, неужто не доедет, а? — И ко мне: — Витек, выручай!

Захололо все у меня внутри: вот бы батя разрешил, я бы уж точно доехал. А что — сначала лугом, потом гривой, потом сквозь село на тракт, а там через Уржум — и кати да кати. Здесь главное — обочиной понукай, чтобы машинам уборочным не мешать, и к вечеру домой придешь. Стою молчу, на батю смотреть боюсь — не спугнуть бы, разрешил бы, пусть бы... а уж я не подведу...

Отец:

— Не сдрейфишь?

У-у! Я шаровары поддернул, уздечку схватил и за лошадью кинулся. Кстати, ответственность за лошадь лежала на мне, я уже где-то об этом писал. Этого коня папе под пушнину выделили, то есть конь был наш от конца апреля до ледостава. Почему конец апреля? А суслики (читай, грызуны) в это время после спячки на свет начинают выходить. Они на свет выходят, а нам лошадь с телегой и всеми причиндалами заготовитель во двор пригоняет. Лошадь так себе, не скакун, не иноходец. Но какой-никакой, а конь!

Снарядили меня мужики по чину, семь кулей рыбы нагрузили — сено под низ, чтобы мягче было, сено наверх, чтобы солнцем не пекло да глаз чужой не видел, и поехал я с богом. Смотрит батя мне вдогон — глаза туманные: шутка ли — столько верст, пацану десять лет (а может, чуток больше, не помню уже), и рыбы семь кулей. А я счастливый! Вот привезу рыбу домой один, без никого, аж с самого Чарыша, мамла обрадуется. Сейчас думаю — а чему радоваться-то? Семь кулей не шутка. С ней, с рыбой, ведь разобраться надо, расторговать. До ночи не распродашь, к утру испортиться может. Холодильников нет, а в подвале на снегу вся не поместится. Но я тогда об этом не думал, труд тяжелый родительский к плечам своим детским не примерял. Ладно...

Луг проехал, на гриву поднялся, краем глаза назад зырю — смотрят мужики, нет? Смотрят, только я не оборачиваюсь, еще подумают, что боюсь. А чего бояться? Погода теплая, дорога ровная... На въезде в село ток раскинулся. Солнце шпарит, баб на току! Полуголы! Золото лопатами перемешивают да перекрикиваются. Одна и кричит:

— Гля, бабы, цыганенок едет! Один... Эй, куда едешь?!

*...лично мне кажется, что Поэзия рождается вот так: садится человек к столу, берет перо, бумагу и чувствует, что душа у него чем-то переполнена: радостью ли, сомнением... Сидит он, сидит над бумагой и вдруг — раз! — и возьмет из-за плеча: когда одно слово возьмет, а когда и целую строку, и попадет в самый цвет, и состоится Поэзия... А я же уже опытный, я же уже в первом классе по папиному заданию стишок про белого лебедя сочинил. Про того самого, что потом меня всю жизнь преследовать будет...*

— ...Эй, куда едешь!?

Я рукой — хоп! — и достал из-за плеча три слова.

— Рыбу, — ору, — вам везу!

Воткнулись лопаты в золото, замерли бабы и на меня уставились.

— Какую рыбу?

— Тп-р-ру!.. Живую! — сам говорю, а у самого сердечко тикает: чикни лезвием под соском — на землю выпрыгнет. Заспешили ко мне бабы, окружили. Самая первая в штанах вигоневых:

— Показывай...

Я мешок развязал, а караси живучие, жабрами — бульк, бульк. Что началось!

Приволокли безмен, кантарь по-нашему, завесили ведро, вигоневая к раздаче стала. А я рыбке цену знаю, табличку умножения тоже, смотрю на кантарь, умножаю в уме да денежки беру. Беру денежки и в халявины сую: шаровары были без карманов, чтобы табак не было где носить, зато на резиночках — сверху и снизу. Серебра и меди для сдачи нет, все бумажки да бумажки, а помощница это понимает и на лету под ровные деньги вес подводит — там карасика убрать, там добавить. Ссыпают бабы рыбку свежую — кто в платок, кто в подол, а из села уже народ потянулся... Короче, торговля и часу не длилась. Ведрами брали. Вот куда столько, тепло же? Но брали... Не состоялась моя геройская поездка домой, не порадовал я маму своим поступком, жалость-то какая.

Еду на стан. Сзади меня на телеге мешки пустые, рыбой провонявшие, впереди меня ноги мои, в шаровары всунутые. Денег! — штанины раздулись. С гривы спускаюсь, вижу — мужики меня узнали, встали у костра, в мою сторону смотрят. Что-то думают? Отец не вытерпел, на встречу вышел...

А Волоха — уже потом:

— Ну Витька, ну герой... Как догадался?

А я и сам не знаю... Хотя — как сказать. Плечо-то мое.

...Эти бабы полуголые, что на току трудились, мне до смерти будут помниться. Я много этих токов повидал, баб тоже, но этот ток для меня особый. Я его как-то изнутри увидел — вернее будет, не увидел — осознал.

### Где вы теперь

*...кто вам целует пальцы...*

А. Вертинский

И ярый зной!

И зной, и паутина...

Какою кистью это передать!

Осенняя равнинная картина —

Времен еще библейских благодать.

Хлебов полоски...

Полосы...

Полотна!..

Безветрие, и синь, и тишина.

Крестьянские зашторенные окна.

Огромная могучая страна.

Простор, простор, и нет ему границы!

Страда! И ярче не сыскать красы!

Амбары, крыши, воробьев станицы,

Груженные угрюмые ЗИСы.

Сквозь горизонт,

Пыля, комбайны плыли.

Решета грохотали, и с утра —

И гимн играли, и куранты били,

И в школу шла учиться детвора.

А на токах — куда ни глянь — пшеница!

А на пшеницах в ситцевых цветах,

В тугих косынках — солнечные лица,  
Лопаты и плакаты на бортах.

Дышали тетки золотой половиной,  
И со столба им радио — про то  
Вещало, что  
В притонах негр лиловый  
Красивым дамам подает манто.

Манто... манто... И вновь я вижу сотки,  
Гектары — в повилিকে, в паутах, —  
Где с тяпками опять — все те же тетки  
В загадочных вигоневых штанах...

И сыпалось зерно, и рассыпалось,  
И подвозящим не было конца,  
И паутинка празднично качалась  
На ветке у конторского крыльца.

Я помню все, и никуда не деться;  
И если грусть и нет забот иных —  
Я ставлю диск, прокручиваю детство  
И теток вижу тех, и лица их.

Где вы теперь?  
Богаче стали, краше?  
Тоскуете ли вы по жизни той?  
Кто нежит вас, целует плечи ваши,  
Покрытые пылью золотой?

## 46

Озера Широкое и Зырянское от дома нашего недалеко, километрах в двух-трех, но расположены за Алеем, от Вавилона левей, на лугу. Еще левее озеро Бельково будет. Перед ними, сразу за Алеем, — Алейско-Поперечное. Это уже и не озеро, гнилуха какая-то, там я по дурной своей молодости коршуна подстрелил. Он мне был нужен? Соединены Широкое и Зырянское узенькой протокой, камышами поросшей. В этих камышах лысухи гнезда вили. А у лысух яйца здоровые, почти как гусиные! Отец на этих озерах сети ставит и рыбу добывает. Рыба известная — караси да лини, иногда щучка влетит. Батя, значит, добывает, а моя задача — после школы сходить к нему и принести рыбу. Рыбы немного — до двух ведер, но все равно тяжеловато, да еще Алей надо преодолеть. Майский Алей глубок, а потому на Алее сделана лодочная переправа, и живет на этой переправе тетя Лена. Место это на Алее называется «под Леночкой» или «под Лодкой».

Отец, когда мне рыбу отдавал, всегда говорил:

— Леночке трех карасиков дай и линька...

Мне не жалко, тетя Лена хорошая тетка, всегда на месте, в смысле, при избушке, всегда веселая, и лодка у нее в порядке...

Приду, бывало, к отцу, ухи холодной похлебаю — и по камышам пойду шариться: а вдруг гнездо? Но гнездо — это такая редкость, да и по времени все быстро кончается — утка девять-десять яиц кладет и начинает потомство высиживать. Яйца быстро запариваются, для еды непригодны, и лучше птицу уже не тревожить.

Бродил я как-то по этим камышам и старую мордушку, из проволоки алюминиевой сплетенную, нашел. Подлатал я ее и в протоку сунул. Дня через три пошел проверить и еле-еле мордушку на берег выволок.

Полная линей! Хорошие такие линии, черные — и глупые, конечно; губы у них толстые-претолстые...

А когда Алей мелел, тетя Лена со своей лодкой на Вавилон перебиралась (лодку-то колхоз держал не для нас, а для своих колхозников, чтобы им, если что, не через мост ходить, это ж вон какой крюк, а напрямую в Алейск добираться). Но это уже случилось после мая, и вода к тому времени в Алее светлела, теплела, и люди начинали пользоваться бродами. Открывались они каждый год в одних и тех же местах.

Когда пустой — то есть, иду еще к отцу, — реку я мог переплыть в любом месте с одной рукой: одной рукой гребу, а в другой на весу шмотки с обувкой держу; а вот назад — в смысле, домой — с рыбой не поплывешь, нужно идти через брод. Бродов два — один «под Лодкой», а другой у старой свинбазы. Тот, что «под Лодкой», был глубоковат, и порой на день-два совсем исчезал: размывалось дно. Утром брод есть, а вечером уже нету. Дня через два — опять есть. Вот такие игрушки были. Так что я ходил по переходу близ свинбазы. Там отпесок с той стороны, и я, когда раздевался на отпеске, то перед тем как в воду войти, развязывал мешок с рыбой и выбирал самого крупного карася. Одного! Этого одного мне край нужно было в Алей отпустить. Почему — не знаю, но делал я это всякий раз. Я считал, что должна же кому-то из этих рыб судьба улыбнуться. Всех бы отпустить, но нельзя, а вот одного можно. Пусть плывет и за меня богу своему рыбьему молится. Карась — рыба очень живучая, часа два в мешке пролежит — и хоть бы что, а в воду бросишь — плывет, и хорошо плывет. Секунда, другая — очухается и вглубь уходит. Мне это нравится. И карась нравится, и тот, который «я», тоже нравится. Хорошо быть спасителем, Русланом...

Очень часто с отцом оставался ночевать. Камышей прошлогодних нарежем, настелем, перину эту перетрясем и спим... Но перед этим у костра насидимся до самого-самого поздна. Звезды ночью на Алтае очень яркие, крупные. Медвежьи! Ночи темные, просто крошечные. Хорошо. Сидим так, сидим, вдруг в тальнике ребенок закричит. Крик жалобный, аж мороз по коже. Голос детский; откуда ребенок при таком безлюдье? Спрашиваю у отца:

- Это кто?
- Зайчишка.
- Че орет?
- Должно, лиса...

Смотрю в темень и все представляю — и лису, и зайчика бедненького. Мне грустно.

А еще над нашим костром, над нами, утки дикие частенько пролетают. Языки костра вялые, дремотные; и вдруг — свист над головой. Утки! Я — к отцу:

- Это кто?
- Чернеть...
- А это?
- Чирки. Не слышишь разве?..

Я не слышу. Смотрю на огонь, на отца и думаю: как он определяет?

Стрелял отец хорошо. И угонную, и «на себя». Как-то после вечерней зари говорит мне:

— Хреновый ты, Витька, стрелок, вот я в твои годы стрелял — да!

Рассказывает:

— Мне мать порой скажет — Васька, курицу надо к обеду! Я окно распахну, ружье на подоконник прилажу, выберу курицу, какая потолще, и с табуретки прямо из избы — ба-бах! Готово...

Все, что со мной случалось помимо школы, в памяти моей хранится. Обрывками, но хранится. А вот школа никак не запомнилась. То ли мне легко училось, то ли было на все наплевать. Так, какие-то детали помнятся, драки (особенно с Кокой Шипулиным, что на улице Омской жил), курение, убегание с уроков. Но вот учительница немецкого языка Нина Ивановна очень запомнилась. Фамилия ее, кажется, Драгилева — или Дробычева... Запомню; а вот то, что она Нина Ивановна, — это помнить буду до конца. Уж она надо мной поиздевалась. Вволю! Не знаю, за что она меня ненавидела, но... ненавидела. Ненависть ее ко мне проявлялась в том, что она на уроках немецкого языка в журнале против моей фамилии всегда ставила букву «н». Не присутствовал, значит. Хотя я был, и уроки не пропускал, и четверки с пятерками получал, и эта проклятая буква «н» меня сводила с ума. Никому она букву «н» не ставила, а мне всегда. Сидел я за первой партой и все, что творилось в журнале, видел. Начинался урок, и я весь напряжинивался. Поставит Нина Ивановна букву «н» в мою клеточку или нет? Если не поставит, то, значит, спросит задание. Язык немецкий мне не нравился. Прошедшая война у нас, послевоенных пацанов, сидела в мозгах, в подкорке. Наверно, отсюда и нелюбовь ко всему немецкому. Если в войнушку играли, то немцем никто не хотел быть. А язык не любили тем более. Был он какой-то резкий и крикливый. Неласковый, короче. Но я его учил и задание домашнее готовил. Худо-бедно, а свои четыре балла получал законно. Иногда и пятерки проскакивали. Так вот, смотрю я в журнал: поставит «н», не поставит. Если не поставит, то «ура»; значит, я есть, и значит, меня спросят, а я отвечу и получу оценку, и буду в классе как все. Если поставит, то все — я уже никакой, как будто я в классе есть, и в то же время меня нет. Словно меня из жизни вычеркнули, а вернее — не меня из жизни вычеркнули, а жизнь из меня вынули. Я становился какой-то пустой, без нутра. Как подростку такое переварить? В те дни, когда по расписанию был немецкий язык, мне было дурно уже с утра. Я нервничал, и, похоже, ей это доставляло удовольствие. Виду, правда, не подавал или старался не подавать, при случае обходил мою «немку» стороной, но она мою нелюбовь к себе, конечно, чувствовала и еще угрюмее творила свой произвол. А вот в сестру ее, Веру Ивановну Балицкую, я был просто влюблен. Она вела у нас пение и чистописание. А еще она нам вместо пения книги про шпионов читала. Я помню даже одно название: «Каракурт». А какой у нее был голос! Мягкий, добрый. У Нины Ивановны тоже голос был мягкий. Мягкий, но вредный! Вот две учительницы, две родных сестры, а как не похожи. Я-то ведь один и тот же — что для одной, что для другой. Ну и что, что хулиган? Издеваться-то зачем? Причем на мой вопрос «почему?» моя «немка» ничего не отвечала, только как-то ехидненько улыбалась. Я не объясню, как это — ехидненько. Наверно, потому что краем губы.

Много времени прошло, жизнь целая, и зла у меня к ней нету. И все же, и все же...

Классе в седьмом учился. Осенью дело, стою на перелете, на вечерней заре. Вообще-то, ружье мне отец подарил, когда мне было десять лет. Старенькую такую одностволочку. Старшие пацаны мое ружье «дудоргой» звали. Думаю, это от зависти, у них-то ружья не было. А-ля-ля!.. В пятнадцать лет я уже владел новенькой двустволкой шестнадцатого калибра. Тульской! А пока мне еще четырнадцатый год, у меня «дудорга», и я стою на перелете на вечерней заре. Дело было на старнице между Карпеновой и Морковкой. Небо пустое, утки совсем не летают. Вдруг откуда ни возьмись — голубь дикий: крыльями так-так — и прямо на меня натягивает. Были бы утки — пропустил бы бедолагу, а тут... Зудит ведь...

Стемнело, пришел к костру, отец спрашивает:

— Кого стрелял?

— Да вот, — говорю. И голубя показываю.

— Зачем?

— Сам не знаю.

— Здоровый уже, пора бы и знать...

Потом я напишу:

Потоп окончен. Пара голубей,  
Летающая стремительно к ковчегу  
Сказать о том, что на току зерно  
Промокло очень, попадает в зону,  
Где ствол ружейный, маясь о живом,  
Вдруг чувствует, что в заднице весь вечер  
Ему патрон мешает.

...Грома нет,

Поскольку дробь летит быстрее звука...

О, если б воздух был чуть-чуть плотней!

Но кто теперь об этом скажет Ною,

И кто расскажет, что вода сошла

И что зерно сушить необходимо?..

Подобное еще есть, из той же юности бесшабашной и безбашенной:

Тростник мотает кистью золотою.  
Вечерний скот идет на шум воды.  
Над гривую, за тонкою чертою,  
Где край земли касается звезды,  
Кривой луны встает кривое жало,  
Отсвечивая синью слюдяной...  
Сова крылом не то чтоб прошуршала —  
Не шевельнула воздух надо мной.  
И я подумал: до чего ж беззвучна.  
Остер мой глаз, и ствол ружья — прямой.  
Ах, юность!  
Бью.  
Заряд ложится кучно...  
Когда ж я поумнею, Бог ты мой.

И еще:

Потом, когда перед рассветом  
Я двух касатых<sup>2</sup> снял дуплетом,

<sup>2</sup> К а с а т а я — кряковая утка (*местн.*).

Отец мне приказал: довольно,  
Так можно всех перестрелять...  
Но я был молод. Мне хотелось.  
Я принимал стрельбу за смелость  
И убивал, не понимая, что можно и не убивать...

Теперь, гуляя над Невою  
С седеющею головою,  
Я, видя птиц в нарядных перьях,  
шагающих по кромке льда  
Навстречу свету, солнцу, маю,  
В сто первый раз не понимаю,  
Зачем стрелял не по метелкам, не по копытнику тогда?

## 49

Помню село Боровское. Не само село, а озеро, что там расположено. Да и не озеро, пожалуй, а сосну. От Барнаула в сторону Казахстана длинным языком тянется сосновый бор, около этого бора село и выросло, отсюда и название — Боровское. Я думаю, что из этого бора в Алейск под Новый год елки сосновые привозили. Нам, детворе, было не важно — ель это или сосна, главное, чтобы игрушки на этом дереве висели и конфеты дед Мороз раздавал в пакетах...

Приехали мы с отцом на это озеро охотиться. Дичи там было очень густо, ну и рыбалка, разумеется, была хорошая. Кстати, на этом озере у отца с дядей Ваней сети местный портил, там они с этим варнаком в свое время и разобрались. Приехали, стан разбили, то-се — отец уплыл в озеро, а я за охранника, лошадь приглядываю, костер готовлю и т.д. Камыш береговой стоит стеною, и не видно, что на озере творится, а батя палит и палит. Посмотреть бы! Рядом со станом огромная корявая сосна растет. Вся в сучках — то, что надо. Я на нее и полез. Высоко залез, и опять ничего не вижу, ветки мешают. Вот беда-то. Спускаться стал. На сучке оступись и грохнулся. Хорошо еще, не с самого верха летел.

Отец с охоты приплыл, а у меня щека разодрана, глаз затек и рука вывихнута. Руку мне потом баба Фрося вправляла. Вправить-то вправила, а вот гранату в армии я хорошо бросать не умел. На троечку с натяжкой. Вроде с плечом нормально, но что-то в нем стало не так. До сих пор чувствую. Мама на это говорила: «Не родом, а годом...»

## 50

На охоте дело было. Пообедали, сидим около телеги в тени. Сентябрь жаркий, паутины в воздухе плавают. У костра чайничек стоит метрах в пяти. Старенький такой чайник, бидончик полуторалитровый, прокопченный, лет ему больше, чем мне. Тот самый, смородой пропахший. Волоха Мещеряков ружье поднимает:

— Дядя Вася, попаду в чайник или нет?

Отец:

— Не попадешь...

Волоха прикладывается — хрясь! — от чайника одна дужка осталась.

Отец:

— Дурак, твою мать!

Волоха:

— Так ты ж говорил — не попаду...

До сих пор не пойму: это шутка такая, что ли?..

## 51

Самое тяжелое занятие — катать дробь. Сначала нужно наплавить свинцовых блинов. Плавили свинец на плите в чугунном казанке, который доньшком входил как раз в дырку от третьего кольца. Грубу топили углем, свинец плавился, а отец самодельной ложкой с длинным черенком пленку с расплава снимал — очищал от грязи, от наплава, плавили-то свинец из кусков кабеля, пломб вагонных, бит, что от апрельских бабок остались. Свинец плавится, а по всей хате чад угарный слоями качается. Расплавленный свинец осторожно выливали на сковородку так, чтобы не толстым слоем. Остывший свинцовый блин легко сходил со сковородки и был тяжел, как язь, и отсвечивал голубым опять же как язь. Потом этот блин рубили ножом на полосы, которые протягивали через фильеры до нужного диаметра. Затем эту свинцовую проволоку рубили в размер по номеру дроби на специальном приспособлении, которое дробосечкой называлось. И только после эту свинцовую шрапнель окатывали на дробокаталке. Но и это не все. Окатанную дробь засыпали в пол-литровую бутылку на треть примерно, затыкали скомканной газетой и начинали чистить дробь от наклепа — трясти эту бутылку на колене, будто масло коровье сбивали. Трясешь, бывало, трясешь, все колено отобьешь и руки отмотаешь. Зато уж дробь получалась не хуже заводской. Да и лишний раз не пальнешь...

Потом напишу:

Самануха, кривые воротины,  
Теплый вечер, полынный на вкус,  
Чай с листьями пахучей смородины  
И окованный бронзой Иисус.

Было ль это, придумано ль памятью —  
Я понять не могу до конца...  
Вижу четко означенный пламенем  
Ястребиный профиль отца.

Бродит ночь за саманными стенами,  
Пахнет гарью и сном наравне,  
Вижу руки с тяжелыми венами  
И казан со свинцом на огне.

Лили дробь... Было все настоящее  
В этой хате — и смрад, и металл.  
Над лампадою, маслом чадящею,  
Слитый с бронзой смотрел и молчал.

Все молчало!

Молчала вселенная.

Мир был черен, беззвучен, бескрыл...  
Помню, дробь получилась отменная,  
Так позднее отец говорил...

И бродил я озерными бродами,  
И хранили меня у огня —  
Чай, заваренный веткой смородины,  
Камышовые шорохи родины  
И спокойная тяжесть ружья.

Ягоды люблю рвать с детства. Любые. Но особенно уважаю ежевику. Синюю. Она черной и крупнее будет, и сочнее, и вкуснее. За Алеем в забоках этой ежевики — только не ленись. Плети колючие, но что делать. Мед тоже с жалом, а ведь терпим, ничего... Ежевички нарвать, сахарком посыпать, да с чаем — что слаще? Класса со второго я ежевичным вареньем зиму обеспечивал. Принесу, бывало, трехлитровый бидон, мама в таз ягоду вытряхнет, а в ней ни соринки. Ну, если где одна. Засыплет ягоду сахарным песком, чтобы ягода сок пустила, и спросит: как ты, сынок, так чисто рвешь?

— Не знаю, — отвечаю. — Рву и рву...

Бабы местные, которые когда-то меня брать с собой за Алей по клубнику не хотели, теперь просят: «Сводил бы ты нас, Витек, за ежевичкой...» А мне не жалко... Но здесь вот чего вспоминается.

Когда я первые разы самостоятельно за Алей ходил, то, если честно сказать, страшновато было. Забоки вон какие большие, а я маленький, тут и заблудиться недолго. Ягоды много, она манит, кружит, того и гляди закружит. Отец спрашивает:

— Не боишься один-то?

— Страшновато, — говорю. — Заблудиться боюсь.

— А ты на солнышко смотри — и не заблудишься...

Сейчас слова эти вспоминаю и руками развожу. Смысл-то в этом какой, просто библейский. На солнышко, сказал, смотри... На солнышко! Но заблудиться там, вообще-то, нельзя. С одной стороны — Алей, с другой стороны — луг с вавилонскими гривами, а по лугу — дорога параллельно Алею. Это я теперь такой умный. Бабы же вон... И не один раз. Тетку Ленчиху искали в этих забоках два дня. Нашли всю комарами искусанную и опупевшую. А нашли-то где, прямо вот — почти у дома. Она, наверно, про солнышко не знала. Баба ведь.

А я теперь про солнышко знал, смелел и ходил под самую Большую Панюшову. Это было уже по-взрослому. А забоки там густые, не мятые, ежевики в них — сине! Бабы просились когда, то я их брал. Сначала ничего было, а потом надоели. Зайдут в забоку и начинают орать: «Ва-аля! Га-аля! Ты где-е? Я ту-ут!» С ума можно сойти...

А вот еще раньше, прямо после революции, когда мама совсем молоденькой была, то в забоки люди почти и не ходили. По краю только ежевику и собирали. Да еще хмель брали, колокольчики самые, шишечки. В войну эти забоки вырубали на дрова крепко. И талы подчистили, и тополи с осинами тоже. Забоки в силу прежнюю входили на моих глазах. Я рос — и они росли. Потом и тополи поднялись, и осины, и талы к самой реке спустились. А теперь уже и купаться стало трудно, все берега заросли талами. В памяти встает Панюшовский Круг.

### **Вечер в Панюшовском Кругу**

Пьет воду утка в сонных тростниках.

Талы оплетены пахучим хмелем.

Алей широк,

И где-то за Алеем

Ночные тени прячутся в стогах.

Лежит звезда на зеркале холодном,

Костра дымок свивается в круги,

И тополя веселым хороводом

Танцуют над обрывом у реки.

Теперь танцуют. Теперь им весело. Знают, наверно, что с топорами никто не придет. И хорошо...

Вообще-то рос я очень хулиганистым. Курил, лазил по чужим огородам, в колхозный сад забредал, стреляным был. И солью, и дробью... Солью из ружья, дробью из поджиги. Поджига — это трубка такая медная загнутая, к деревянной рукоятке прикрученная проволокой, с обязательной прорезью, через которую порох, в трубку набитый, поджигается. Голову топором разрубал, ногу ломом пробивал, на вилы надевался. Собаки меня рвали, на велике разбивался, с весенней льдины купался, чуть не утонул...

О Бог мой! А если все мелочи собрать, то меня точно повесить надо было. Чужие огороды одни чего стоили? Морковка, огурцы, крыжовник... Мне это было надо? Ведь в своем огороде всего достаточно! Но, наверно, надо, а иначе — как? Классный руководитель мой, Анна Дмитриевна Смартыгина, горя со мной набралась по самую крышку. Она мне благоволила, я это чувствовал, любил ее взаимно, но меры не знал. Поведение в дневнике выше четверки за неделю она мне не ставила. Один раз даже ноль был. А как же! Вот! В церковь покойника отпевать привезли. Церковь от школы в пятидесяти метрах. Покойничек! Прелесть... Как же я к нему не сбегу с урока? Сбежал и около гроба всю службу торчал со своими красными толстыми щеками, да еще и в пионерском галстуке. Батюшка разнервничался, службу справил, а потом пошел к нашему директору. Вот тебе, Витя, и ноль! На собраниях родительских меня и ругали, и хвалили одновременно. Мама отцу не все про меня рассказывала, а отец за этим не шибко и следил. Четверки и пятерки по предметам его устраивали, а на остальное он смотрел сквозь пальцы, подумаешь, пацан хулиганит, подумаешь, курит, он и сам с детства смолил. Хотя должен сказать, что по вопросу табака разговоры он со мной вел не единожды. Говорил:

— Бросил бы ты это дело. Ничего хорошего. Попомни, придет время — все одно бросать будешь... Я вот мучусь, и тебе придется. Брось...

Как же — «брось». Я же бессмертный. Какие легкие, какое дыхание?..

Папа, папа, твои бы слова да дураку в уши. Не услышал я тогда папу, а жаль... Курить я, конечно, бросил. Лет в пятьдесят. И не курю уже двадцать лет. Сколько ж я курил? Подумать страшно. Вот и память уходить стала, мозги, видимо, никотином забиты. Это я для живущих пацанов пишу. Не курите! Хуже заразы нет.

Но вернемся к школе, к моему нехорошему поведению. Терпела Анна Дмитриевна мои безобразия, терпела, пока однажды терпение это не кончилось. Что я там в школе сотворил — не помню, по-моему, училку по географии (Богомолува, кажется) обидел, сказал вслух, что у нее платье некрасивое. Она расвирепела и хотела мне уши оборвать. Не удалось, и весь свой гнев она на мою Аннушку выплеснула.

Был март, помалу бурило, и уже под вечер вдруг к нам в дом является Анна Дмитриевна. Я сжался. Не было такого, чтобы учителя по домам к хулиганам ходили, да еще по бурану. И все бы, наверно, ничего, но по дороге к нам собаки бродячие ей пальто порвали. Она и на меня пожаловалась, и на собак, и карман, оторванный от пальто, показала, и вообще. Отец ее молча выслушал, карман осмотрел, пошел проводить за

порог, а я приготовился к порке (давненько не получал). Порки не было, да и здоровый я уже был для порки-то, неудобный. Отец просто сказал:

— В школу больше не пойдешь. Не хочешь учиться — другим не мешай.

Сказал как отрезал. Тихо сказал, без шума, но мне стало дурно. Я понял, что это не шутка, что я уже плыву, а берега нет, и мне пора топиться. А что делать? Спасибу маме. Она в эту беду не встревала, только шепотом мне указала:

— Проси прощенья. Неучем останешься...

И остался бы. Я в роду последний. Покребыш. Старший Иван, потом две сестры, Люба и Нина, потом я. Вот так и с сестрой Ниной было: «Не хочу, сказала, учиться...». Отец сказал: «Не учи!» И отправил ее на снегоборьбу. Была в наших краях такая работа, снегоборьбой называлась. Снег чистили. Бураны были о-го-го! Снегами заваливало все, особенно железную дорогу... Мне снегоборьба была не нужна. А случилось все это в седьмом классе, в выпускном, я в семилетке учился. До конца школы оставалось два месяца — апрель, май, и за плечами — семилетнее образование. Близок локоть... Как быть? А никак! Вину признать, гордыню смирить и прощенья выпросить. Получилось. И на этом все! Баловство кончилось. Курить я еще покуривал, но шкродничать уже перестал. Школу окончил с хорошими оценками и при «хорошем» поведении, на «отлично» мне было уже не вытянуть. Маме сказал, что поведение у меня хорошее, она успокоилась, а у меня кошки в душе поселились, я уже знал, что в новую школу в восьмой класс меня с моим «хорошим» поведением не возьмут, там своих непутовых хватает.

Лето гулял плохо. Сусликов ловил, с ружьем болтался, коров пас, рыбачил, но «хорошее» поведение мне очень портило жизнь. Как вспомню, аж вспотею. И чем ближе к сентябрю, тем пот становился холодней. Просто ледяной. До дрожи.

Короче... Принимали меня в новую школу (школа №1) через педсовет. Перед самым сентябрем собрал директор (Сердюк Иван Семенович) педсовет, вызвали заранее туда и меня с моей мамой. Бедная мама... Ей-то зачем эти переживания? Посмотрели новые учителя мое свидетельство, покачали головами — как же так, по всем предметам четверки и пятёрки, а хулиган. Я дал слово, что исправлюсь, и новая моя будущая классная Зоя Ивановна Кравченко сказала:

— Возьму этого мальчику к себе...

Спасибу тете. А слово я сдержал. В школе не хулиганил. Только нашла меня другая напасть — карты. И не просто, а на деньги... Песня эта долгая, и об этом — в другой раз и в другом месте. В одиннадцатом классе в сентябре приехал брат в отпуск, посмотрел на все мои дела (а дела простые были — карты, деньги, вино, танцы) и сказал отцу:

— Витьку заберу в Ленинград, иначе он в тюрьму сядет.

Отец не возражал, хотя и понимал, что тошно им с мамой будет без меня. Как никак, а мне уже семнадцать лет было, я уже по семейному статусу в хороших помощниках значился. В начале октября я уехал в Ленинград. Точнее, в область. На душе было очень тревожно...

## Октябрь, 1962

Пацан, покинув сады и гумна,  
Друзей и школу, — почти бездумно  
Вошел я в тамбур с ущербным светом,  
Где пахло гарью и туалетом.

Вагон качнуло и закачало —  
И покатило, и застучало.  
И трое суток стонали рельсы...  
О! Это были такие песни,  
Каких я после нигде не слышал...  
Шел дождь со снегом, когда я вышел...  
И, подтверждая, что все серьезно,  
Гремя железом, оружий грозно,  
Шагал носильщик по черным лужам...  
Огромный город.  
Кому я нужен?..

Кому-кому?... Да никому.

Прописали меня в Кузьмолово временно, стал я лимитным, в школу дневную не взяли, нефиг здесь деревенщине делать. Но! Была школа ШРМ. Здесь меня приняли в десятый класс (десятилетка), но на работу не приняли нигде. Так я и болтался без работы до полных восемнадцати лет. объездил весь Ленинград, но не приняли нигде: ни дворником, ни учеником каким-нибудь, ни директором. Недомерок, да еще и лимитчик! Ох, как тяжело было сидеть на братовой шее. Спасибо его жене, Шуре, Александре Степановне. Не оттолкнула она меня, приветила. Мир праху ее, да будет память о ней светла... Так что закончил я ШРМ под Ленинградом в Кузьмолово. В классе среди дядек, тетек и местных пацанов я был корифеем. Аттестат зрелости выдали с тремя четверками: по русскому, по литературе и обществоведению. Остальные — пятерки. Если кто не верит, то могу показать. Здесь, под Ленинградом, все мое сознание тогда перевернулось. Ребята, с которыми сдружился, про институты говорили, про военные училища, а я об этом в Алейске и не думал. Какой институт! Ремеслуха, армия — и в поле, на чернозем. Вся перспектива. Кстати, не совсем уж и плохая. Быть хлеборобом, что в этом дурного? Но... оказывается, и в институт ведь можно поступить. Почему нет? Знания у меня были. А кто меня кормить будет? У брата своих сыновей — трое. Папа с мамой мне не помогут, пенсия папина не позволит. Эта задачка решалась просто. После школы — на завод, потом армия, потом — снова завод — и учишь, хоть на вечернем отделении, хоть на заочном. Дневное отделение мне, по моим финансовым причинам, не светило никак. Так я и сделал. Завод, СА, завод плюс вечерний институт — и получилось...

Ладно... Пойдем дальше, про хряка надо бы рассказать.

Осень. Девятый класс. Прихожу из школы, а отец говорит:

— Сходи к Яковлевым, хряка пристрели. Сдурел он у них, что ли...

— Как — «пристрели»? — Уток диких я стрелял, а вот свиной...

— Как, как! Возьми картечь, да в ухо и стрельни. Делов-то.

Позвал я на это дело друга своего Ваньку Ворожбитова, и мы вдвоем пошли к Яковлевым, которые жили за маслозаводом. Вообще-то там ждали не нас, отца моего ждали, но пришли мы — и пришли с ружьем, а это серьезно.

Зашли в хлев — мамочки! Хряк так хряк, с полбыка будет. Мечется в загородке, нас увидел — на задние ноги встал, на доски оперся, а по хребту щетина дыбом. Холодком повеяло, а вдруг промахнемся. Да он нас в клочья разнесет вместе с хлевом. Патрон один, на дворе лампа паяльная

шкворчит, Яковлев-сам с ножом ходит — дорезать, если что. Вот незадача. Решили — будем бить, не мужики мы, что ли, — тем более, что лампа шкворчит. Не знаю, как Иван, а у меня нутро заныло.

Первым охоту начал я: ружье-то мое. Только ствол подниму — хряк на дыбы и вместо уха пятак показывает. Не выходит бить в ухо, а в лоб — картечь не возьмет, да и отец говорил — в ухо, мол... Покрутился я с ружьем, покрутился — не получается. То ли он чуял, что я по его душу в хлев приперся, все ревел и на меня рылом лез.

Тогда начал охотиться Ванька. То же самое. Долго мы валандались, а толку нет. Такой упертый: все носом и носом лезет! Но... догадались: я хряка поддразнил и на себя поманил — отвлек, в смысле. Хряк — он и есть хряк, потянулся ко мне, ухо Ивану и подставил. А дальше уже ни мне, ни Ваньке не интересно было...

## 55

Охотимся на Карасево. Отец с утренней зари приплыл хмурый.

— Беда, Витька.

— Че?

— Цевьё утопил — может, нырнешь?

— Нырну, — говорю.

Поплыли. А лодочка только-только для двоих! Отец на корме веслом правит, а я впереди с ружьем. Последний из могижан! Пока до места доплыли, двух чернетей красноголовых добыл. Чернети при вечерней и утренней пальбе в камыши забиваются, а днем на чистое выплывают. Отец лодку ведет бесшумно, весло с борта на борт не перекладывает — с одной стороны гребет, притабанивает. Я тоже так могу, научил батя, но сейчас у меня задача другая: стрелять, если дичь. Приплыли на место, к батиной утренней засидке, отец челнок в камыши загнал, как и утром было — эта камышинка у этого борта, эта у этого, здесь просвет, а вот здесь цевьё и булькнуло. Озеро Карасево мелкое, глубина метра полтора на круг, но дно... Ил — как пух! Говорю:

— Если дно взбаламучу — хана цевьёу. Давай так: я буду вниз головой, а ты меня за ноги придерживай.

Так и сделали. Цевьё в ил по локоть ушло.

Обратно плыли, лысуху поднял. Лысуха — это утка, но больше на курицу похожая. Крупная, черная, на лбу лысина (отсюда и лысуха), лапы без перепонки, точнее — с намеками на перепонки, клюв как у курицы. Любит бегать по воде, на крыло становится с неохотой. За это и платит жизнью. Вкусная. Пупок — в смысле, желудок — у нее здоровый, в кулак...

## 56

Горевка — это река. Речушка. Маленькая такая — в смысле, узкая. Зато вертлявая. По обе стороны гривы раскинулись. По этим гривам сусликов — море. Наш стан разбит на этой стороне, а напротив, на той стороне, вагончик стоит пастуший. Вагончик новенький, а пастухов нет. Нас четверо — Юрка, Толька, я и отец мой. Норма отлова — не меньше пятидесяти штук в день на каждого, но сусликов столько, что мы легко догоняем до сотни и больше. Весь день на жаре, просмолились, что головешки, а суслики прут, как на погиль, не успеешь капкан поставить — уже пружина задрана. Пока от капкана к капкану идешь, шкурку со зверька

и слушались. Подсолишь шкурку чуток — и в рюкзак, а куда тушку? А тушки мы опускали в норки сусличьи столбовые. Столбовая нора — это когда вырыта она отвесно вниз. По степи тушки разбрасывать нельзя — очень много коршунья собрать можно, не до ловли будет, коршуны живых сусликов из капканов брать начнут.

Но суть не в этом. Суть в вагончике.

Отец охотился один, а мы, пацаны, — народ стайный, облюбовали себе вагончик, в нем и кучкуемся. Кучковаться кучкуемся, но ловим раздельно, у каждого свой край. Юрка — вниз по Горевке, Толька — вверх, а я — перпендикулярно к речке и прямо в степь, в сторону горизонта. Ловить группой нельзя, толку не будет. Охота — как творчество, одиночества требует. В основном... Так вот, сделаем обходы по капканам — и в вагончик, сусликов обдираем да покуриваем. А куда теперь тушки девать? Не бегать же по гривам да норки столбовые искать! В вагончике стеллажи из труб сварены, диаметр — что надо! Стояки до потолка не доходят, сверху не заделаны, мы и начали в эти трубы тушки опускать. Хорошо!

Это в первый день.

На другой день стали засовывать тушки за обшивку, под половые доски, куда попало... Умники, язви нас...

На третий день к вагончику не подойти, махан протух, жара ведь.

На четвертый день пастухи приехали...

На пятый день... А весь пятый день Юрка, Толька и я вагончик чистили. Мы в вагончике, а пастухи с бичами — снаружи... Только я думаю так, что все это мясное добро нам извлечь не удалось. Такая вонь стояла! Ух... Когда она пройдет, да и пройдет ли? Вот же дурни были... Отец, помню, шибко ругался. Больше всех Юрке досталось, он был нас постарше, ему и все пенки.

Я выше сказал, что ловили сусликов мы поодиночке, а у света четыре стороны, и нас четверо, вот и получалось, что каждому по стороне — юг ли, запад... Приходили к отцу родители и других моих друзей с просьбами: «Возьми, Василий, и наших, что они здесь все лето болтаются». Отец отказывал: сторон-то у света четыре, не вписывается пятый в этот расклад. Осенью, когда подбивали итог всему промыслу, то выходило на каждого и денег, и пшеницы, и муки. Не велик приварок, но и не задарма. Я в это дело нос не совал, но Юркины и Толькины родители были довольны. Еще бы: муки на всю зиму — и пшеницы куля по три. А на заработанные деньги в школу можно собраться.

Очень любим ножи метать. Вообще у нас, у сусятников, по два ножа: один — складшочек, перочинный, в смысле, другой — большой, для обработки нор сусличьих.

Как норы обкапываются, сейчас расскажу. Кому-то же интересно. Норы сусличьи бывают двух видов — боковые и столбовые. С боковой проще, там дорога у суслика одна, наискось в землю. Чуть-чуть ножом подработаешь — и ставь капкан, лишь бы стоял ровно, не на боку, да под пяточок земли не насыпалось, а еще хуже — камушек какой не попал. А в столбовую нору дорог много — вход с любой стороны, капкан так просто не поставишь. Суслику надо дорогу смастерить, траншею прорыть, а в ней капкан и поставить. Для начала надо внимательно посмотреть, где зверек траву прикатал плотней, с какой стороны в норку нырять ему боль-

ше нравится. Вот с этой стороны канавку от норки на волю на длину капкана с запасом и прорезаешь. По ширине она должна быть сантиметров шесть-семь — то есть, по диаметру норки, и глубиной так же. Потом в канавке вырезаешь боковины полукруглые для щечек капканьих, которые развернутся в стороны, когда капкан взведешь. И все. Взводи капкан и ставь на эту дорожку. Маскировать капкан не надо. Суслик не крыса, суслик глупый, а вот сверху норку надо прикрыть, чтобы мимо траншеи через верх не пошел. Прикрыть можно пластиной земли, что от канавки получилась, или сухой коровьей лепехой, их вокруг по степи навалом разложено, сжат же по всему Алтаю пасется. Все. Теперь надо не забыть тычку с флажком поставить, чтобы видно было издалека, и капкан на тростике закрепить. Степь ровная, никаких примет, да и как все запомнить, когда норки все новые и новые, а капканы терять нельзя. Ну и ловись, суслик, на здоровье, а мы пойдем дальше.

Складишки у нас отточенные, острые: мы ими сусликов обдираем — и для других дел их использовать нельзя, ну если только хлеб там отрезать, сало. Точим мы их на оселках. Этот опыт храню до сих пор и нож могу точить, на брусок не глядя. Норовые ножи большие и тупые: землю резать — не наточишься. У Тольки штык — не то японский, не то германский, длинный и с кровостоком. У Юрки нож из хлебрезки, что при вокзальном буфете, украденный, а у меня самопал кованый. Ручка у моего ножа из олова отлита, лезвие широкое, тыльная кромка приплюснута, этим ножом отец блины свинцовые на полосы рубил, когда дробь катали. Вот этот нож я и метал. Идешь, идешь — тоска, а степь без края: куда хочешь, туда и бросай. Бросал я его, бросал — и однажды в нору сусличью забросил, в столбовую. Как он туда залетел? Но залетел... О, думаю, мне батя за этот нож голову открутит. Что делать? Лезвием от складишка пустил зайчика в нору — глубокая — метра полтора, на самом дне набалдашина оловянная светится. Ага... Пометил я нору — и на стан, за лопатой штыковой. Отцу ничего не говорю: можно и схлопотать, только это всегда успеется.

Выбрал в околке сук попрямей — нору затыкать, чтобы глиной не завалило, когда рыть буду, и начал. Начал в полдень, окончил — уже солнце село. Ладный колодец получился! Глина в степи крепкая, мозоли набил хорошие, до крови.

Но и это не все. Через день пастух прискакал, за яму ругался — коровы, мол, ноги поломать могут. Пришлось вновь лопату брать и зарывать идти. Получилось что-то вроде могилы. Степь, степь и — могила... Или — памятник. Разгильдяйству.

А нож я и после этого метал. Степь-то без края! Идешь, идешь — да как запустишь! Главное, чтобы нож в землю воткнулся. В этом и суть.

Еще интересное в наших поездках было вот что. Кто нас надоумил, откуда пришло, или сами придумали, не знаю, но научились мы между собой (отец не в счет) разговаривать на тарабарщине, смысл которой в том, чтобы говорить, на лету переворачивая слова. Например:

— Шелподо и рюсмот — а ликовсус!

Это надо понимать так: «Подошел и смотрю — а сусликов!» В смысле — много. Отец, бывало, слушает-слушает — и скажет: «Откуда такую брехню принесли?» А нам нравится, и так мы в этом деле наблатыкались, что когда приезжали домой на передых, то пацаны с улицы нам просто в рот смотрели. Это они по первости смотрели, но осваивали эту чепуху быстро, и вскоре, не уступая нам, во всю тарабанили на этом языке, того не понимая, как это здорово развивало речь. Мне не кажется, а я даже уве-

рен, что так оно и есть. Сейчас, когда я занимаюсь стихотворчеством, я оцениваю это в полной мере.

Здесь, наверно, будет уместно рассказать, как мы наших сусликов ели. Читатель, брезговать не надо. Суслик — животинка чистая, не грязнее свиньи, зайчика или нутрии с ондатрой. Питается только травкой и отборным зерном. Пшеницей! Воду не пьет, нет ее в степи, но зато росы поутру — навалом. На каждом листике! Весенний суслик худой. Весной у них гон, да и зимняя спячка тоже не подарок. Как только гон кончится, драки боевые между самцами прекратятся, все зверьки начинают думать о будущей зиме. Это значит, что им надо обрести салом и запастись пшеницей. Пшеницы надо около ведра или чуть меньше. Вот за это зерно суслики и платят своей жизнью. Мех у них так себе, пустышка. Не из-за меха их уничтожают, а из-за хлебушка, что в полосах зреет. Зерно начнет наливаться, и суслик приближается к хлебным полосам. Выстригает в полосах поляны — будь здоров, до десяти-пятнадцати метров в диаметре. Начало августа — суслик не агроном, но дело свое знает туго. В полосе, поближе к целине, роет нору и начинает жатву. Увидишь в полосе выстриженную поляну — подойди, а там, в центре, нора будет, а около — гора пустых колосков. Ставь капкан, и суслик ждать не заставит. Сейчас они в четыре лапки набирают жир. Самцы старые, мы их зовем мурлонами, уже еле ползают, самки тоже раздаются вширь, и молодняк подходит. Вообще-то самцы жиреют быстро, сразу после мая, и в пищу они идут все лето. А уж в конце июля и в начале августа любого можно пихать в котел. Обдерешь, а тушка белая, вся салом покрыта.

Готовится суслятина в большом чугуне. Заправляет этим делом отец. Наша задача — натаскать на стан жирных тушек сусличьих и коровьих катяхов — то есть, сухих лепешек. И того, и другого в степи — навалом. Тушки разделяются, укладываются в чугунок, туда же чуток воды подливается — и на костер. Костер из коровьих катяхов жаркий, но не острый. Скоро в чугуне зашкворчит, водичка станет выкипать, жир начнет топиться — и все. Процесс этот долгий. Сало с тушек должно сойти и превратиться в топленое. Это сало — большой дефицит! За этим салом к нам домой приезжали даже из Прибалтики. Говорят, что оно лечебное; я не знаю. Знаю только то, что мясо у сусликов вкусное, и обедались мы им по полной, и были у нас, у пацанов, морды — кирпичом с двадцати метров не промахнешься. Отец не поправлялся, был прогонистый, легкий и на подъем, и на ногу. Ел мало.

Здесь, в наших степях, в те годы было много пастухов-калмыков. Переселенцы, что ли. Сусликов они ловили очень лихо. Мы — капканами, а они — волосяными петлями. Капканов им было не достать, и плели они свои петли из конского волоса своих же коней, на которых пастушили, и ели этих сусликов денно и ночью. И ничего с ними не случилось, нормально жили. Жили и мы. Вот говорят, что суслики — переносчики чумы. Ха-ха! Ничего подобного. Если чума придет, то ее начнут переносить все: и звери, и птицы, и люди. Как, скажем, холеру, проказу, оспу или тиф...

Почему дурное легко запоминается? Вот опять я про слова...

Ловили сусликов в Малиновке (кажется, что в Малиновке, — или под Урюпино? Не важно), и был там пастух из местных, Андреем звали. Очень любил коня на дыбы ставить и песни матерные петь. А еще он говорил —

«струмена». Вставил ноги в струмена!.. И свистел. Как свистнет — с казахских развалин коршуны сонные с клеточком сваливаются.

Песенка его веселая — шестьдесят лет, почитай, прошло — все во мне живет. А текст-то:

Сидит заяц на березе,  
Ничего не говорит,  
С пальца кожу обдирает —  
Галифо себе кроит.

Слушаю и думаю: откуда у зайца пальцы взялись, как он эту кожу сдирает? Потом Андруха спел частушку по-настоящему. Пальца не было, было другое, и сразу в памяти моей эта частушка и осела. Я ее не пою, не повторяю, а просто помню, как будто с ней родился.

К этому надо добавить — галифо! Струмена и галифо! Легче, чем струмена и галифе. Мне нравится, удачно исковеркано.

## 59

Завелась в доме крыса. Ларь прогрызла, в подвал спустилась. Объела на банках с вареньем крышки капроновые, картошку перепортила, по ночам шебаршит, грызет что-то. Мама и говорит:

— Вась, капканов полный дом, а крыса как на гулянке ходит, словил бы...

Понаставил отец капканов по всему сараю, и в подвале понатыкал — везде-везде, а толку чуть. Нет крысы! В капканах нет. А в доме есть. То там наследит, то там.

С северной стороны дома, по-над стеной, вместо лавки лежало бревно сосновое на подкладках. Мы с пацанами и отец тоже сидеть на нем любили. В жару там тень, и улицу хорошо видно, а это же очень важно — все видеть и, главное, знать, кто куда идет и кто чего несет. Проснулись однажды, под бревном — гора земли свежей, крыса нору прорыла, ход из дому на улицу сделала. Поставили и здесь капкан. С неделю простоял — пусто. Сижу однажды вечером на бревне, семечки грызу, и вдруг железо — хлоп! Ага! Знакомый звук! Я к норе — точно! Попалась кума. Нора широкая, капкан — «нолевочка», крыса его в нору утянула на весь поводок. Потянул за тросик, крепко уперлась! Я сильней, еще сильней, еще — заставь дурака богу молиться! — и вырвал капкан из норы, но только без крысы. Смотрю, а в капкане лапка крысиная, левая, вместе с лопаткой, жилки еще дрожат. Отец посмотрел:

— Сдохнет... Но капкан поставь.

Через месяц снова крыса попалась. В этот же капкан. Рассмотрели внимательной и подивились. Знакомая! О трех лапах была, без левой передней. Нету! А где быть должна — завиток кучерявый, светленький.

Вот вырви человеку руку вместе с лопаткой — и чтоб он жив остался. Даже в мыслях не представляется.

## 60

А вот еще мелкие брызги. Колодезные...

Колодцы у нас, на нашей улице, глубокие, трудно до жилы добратся, а потому колодцы не у всех, и в июне-июле колодцы были не всегда доступны, хозяева воду для поливки берегли. В нашем хозяйстве колод-

да не было. Попытка вырыть, правда, была, я еще в ту пору в соплях весь бегал, но помню, как мама горилась, что попали на пльвун. Как с ним справиться, никто не знал, и колодец забросили. Только горбыли на сруб извели, руки оборвали да деньги потратили.

А у бабки Быстровой колодец был. Один на весь околоток. У колодца все лето бочки стояли, водой заполненные. Вода в них на солнышке грелась для полива. Быстриха разругалась с соседкой и отказала ей в воде, а та и решила:

— Ну, карга, я тебе устрою!

Соседка на железке работала. Намела из пульмановского вагона вничком каких-то химикатов и домой принесла. Много принесла. А потом химикаты эти тайком-тайком в бочки быстрихины и высыпала: сгорит, мол, огородня от химии. Высыпала, значит, и беду чужую в чужие ворота ждет. Быстриха об этой пакости не знает, поливает бахчу да радуется, бахча, как на дрожжах, пухнет. Зеленая да сочная! Химикаты мочевиной оказались.

## 61

Славка Невский говорит:

— Мне когда врут, я головой киваю: «ага, мол, ага», верю такой брехне, ну и в ответ свою брехню показываю. У отца, говорю, моего собака была, лаечка карельская, Нерпой звали. Ох и умница, стерва! Отец стакан молока со стаканом воды смешает, в миску выльет, так она молоко вылакает, а воду оставит.

## 62

К середине августа суслики в спячку отправляются. Перед тем как спать залечь, из норы выходят редко, в три-четыре дня разок, и то по росе. Загонишь такого мурлона жирного в нору (ловили только на загон), поставишь капкан, и стоит он на взводе, ждет-пождет суслана. Случалось, что и не дождетя, суслик в спячку завалится... Во второй половине августа степь вымирает, свиста сусличьего уже не услышишь. А недавно прочитал:

Последний вздох сентябрьской Музы.  
Ракиты в черном серебре.  
Сухие былки кукурузы,  
И грустный суслик на бугре.

Ох, ох — думаю. Тем более, что вздох-то «последний», перед октябрем. Чего же этот суслик так припозднился? Уже десятый сон досматривать должен... А может, под Воронежем — родина автора — другая порода сусликов водится? Узнать бы, снять сомнение... Стихотворение уж очень хорошее.

## 63

У Стрелехи сын из тюрьмы пришел. Ух и зэк! Настоящий сиблаговец, не какая-нибудь лярва. А расписан! Каких только петухов на нем нет. Стриженный наголо, плечи от наколок синие, все купола да кинжалы, брюки широченные пыль метут. Завидно! За что посажен был, точно не

знаю, но отсидел хорошо. Поговаривали, что за вагон с мануфактурой. Вскрыл с дружками на перегоне вагон и несколько километров насыпи железнодорожной тряпками цветными украсил. Тюки из вагона вылетали, раскрывались — и по бурьяну, и по бурьяну. Видавшие эту красоту позднее говорили, что очень разноцветно было.

Отсидел, пришел, радости-то сколько. Полный дом! Друзья, товарки. Встреча да похмелье, а на похмелье — еще похмелье, и дело дошло, конечно, до чертей. Потом уже рассказывал:

— Захожу, — говорит, — в хату, прохожу в комнату, а там на подоконнике черт сидит. Чертик! Сидит, ногами болтает, и рожки мне всякие корчит. Ах ты гад, думаю... А чертик-то маленький, тапочком прибить можно. Я снимаю с ноги ботинок, а он раз — и за штору спрятался. Только я ботинок отставил, он опять на подоконнике появился и снова мне рожки начал показывать. Я — за обувку, он — за штору... Не-е, думаю, обхитрю. Подошел к стене как ни в чем не бывало, будто и не вижу его, снял дедово ружье с гвоздя, вышел в кухню, зарядил — и в щелку в комнату из-за занавески смотрю. Нету-нету — вылезает. Побегал сатаненок по подоконнику, побегал и сел. Сел, значит, а сам на дверь на мою косится, меня высматривает. Высматривает, а не видит. Я потихоньку прицелился — как дал...

## 64

Высадил Генка (так ээка звали) раму и успокоился, недели две не пил. А потом снова. Пристал к матери: дай на бутылку — и все тут.

— Не дашь, — говорит, — утоплюсь.

Стрелеха — в сердцах:

— Топись!

Генка, недолго думая, подошел к колодцу, снял ведро с гвоздя, осмотрел его зачем-то, ноги во тьму колодезную свесил, сел на это ведро верхом — цепь меж ног — и — гур-р! — вниз, только в колодце шлепнуло. Стрелеха в крик, соседи сбежались.

— Ай утоп?

— Утоп.

— Давайте «кошку»...

Стали «кошку» спускать, а из колодца мат отборный.

Стрелеха:

— Сынок, живой?

— А хрен ли ты думаешь?

— Вылезай...

— Не вылезу!

— Вылезай, дам бутылку!

— Спускай в колодец. Спустишь — вылезу...

## 65

За рекою Алей, под самым Красным яром, расположена старица, и звалась она в моем детстве — Панюшовская. Эта старица по форме почти круг. Эту подкову сотворил Алей перед самым Красным яром. Петлю он там сделал. Тек, тек, а как Красный яр увидел, то сразу на луг завернул в сторону Черемошки, потом изогнулся влево, назад дорогу прорыл и подошел к самому началу петли, откуда загибаться на луг начал, и дальше

поток к Красному яру, как будто на луг к кому в гости ходил. Ясно хоть пишу-то? Перемычка между уходом вправо и приходом назад составила метров 30-40. Однажды по осени, еще до Гражданской войны, два парня, отец мой будущий и его дружок Ларионов, взяли лопаты и канавку по этой перемычке прорыли. Неглубокую. Отец говорил — «штыка на полтора». Алей по весне разлился, все вокруг затопил, а когда в берега входить стал, то течь по старому руслу не захотел. Вода уходила, канавку нащупала, а силы половодью не занимать. Дальше, дальше, глубже, глубже, и зачем ему та петля, когда по перемычке ближе. Все!

Алей потек по новому руслу, а старица осталась. Кстати, обратите внимание, все старицы имеют форму подковы. Вот и эта в кольцо согнута. Заросла она камышами, карасями, линями, утками дикими. Хорошо! Я с этой старицей познакомился, когда она была в самом расцвете, а я еще маленький был. Все хорошее, что там было, мне и досталось. И народу там было мало, и росло там все в изобилии, и клевало — дай бог! Старица стала Панюшовская, а все, что в середине, — Панюшовский Круг. Луку там полевого было! Прямо пятаками, прямо пятаками... Да еще гнезда утиные дикие. Для пацана — рай! В этом раю я и рос.

А потом к этой старице пришел однажды дед Богун. Был он пчеловод еще тот, еще той закваски. По-молодецки шустрый, по-стариковски вдумчивый. Посмотрел он на эту прелесть, посмотрел и добился у каких-то там властей право пасеку здесь организовать. Край непуганый, ни машин, ни поездов, вода рядом, цветов море, гречиха по навулонской гриве развернута ковром. Жни — не ленись...

Нам, пацанам, пчелы не мешали. А вот три собаки, что дед на пасеке поселил, были нам хуже яда. Черный Буян, типа кавказца, только с ушами, и две светлых борзых — Стрелка и Белка. Борзые ничего, так себе, брехнут и все, а вот к Буяну я долго подлизывался. Потом он меня с дедовой помощью признал, и когда я приходил, то встречал повилывая хвостом и не облаивая. Так я же не пустой к нему приходил. То блин ему принесу, то кусочек сахару, сам не съем, а ему — нате. Даже когда за ежевикой мимо пасеки иду, то для Буяна что-нибудь в кармане держу. Выскочит на шум, а у меня для него есть что-то. Он и вильнет хвостом. Злой, большой, а сладстена. Если ему дед команду даст, порвет за так. Волка ему, правда, не догнать, тяжел на ход, для этого Белка со Стрелкой есть. Если что, те догонят, окружат, осадят, Буян прибудет — и волку крышка. Говорили, что однажды такое было, но я не видел ни волка, ни волчьей шкуры.

Пишу я это все ради вот какой картинки. Класс девятый, кажется, уже был, и стоял, помню, морозный февраль. Нас на время перевели в первую смену, и домой я возвращался часа в два или три дня. Светло, морозно. Иду через солонцы, от старой почты как раз на избу Юрки Добровольского, а навстречу мне посередине солонцов бегут две каких-то странных собаки в красных толстых воротниках. Потом я их узнал, и они меня узнали. Это были Белка и Стрелка. Но как они были украшены! У каждой собаки на шее была завернута в кольцо ярко-красная лисица. А это Илья Богун, потомок деда Богунa, шел после охоты из-за Алея через Малую Панюшову к себе в Алейск. Он шел далеко сзади, а две красавицы собаки с двумя добытыми и уже замороженными в форме колец лисами, с хвостами лисьими наружу, бок о бок неспешно бежали по тропинке домой. Они не бежали, они плыли, воткнув свои длинные морды в закат. Королевы! Больше пятидесяти лет прошло, а я все вижу и вижу эту картину. И сладко, и радостно, и горько...

А потом появится вот это стихотворение:

### Дед Богун

Там, где старица — подковой,  
Где на зорях дух сырой,  
Между Малой Панюшовой  
И Большою,  
Под горой  
Дед Богун поставил ульи,  
Сплел избушку в два окна  
И живет в пчелином гуле  
От темна и до темна.

Он еще и правит службу —  
За покосами следит.  
Предложу я деду дружбу —  
Это нам не повредит!

Я посуду перемою —  
Он мне меду зачерпнет,  
Я столбы для тына врою —  
Он еще мне подольет.  
Я переберу все сети —  
Он нацедит молока,  
Хлеба даст.  
Вкусней на свете  
Я еды не знал пока!..

Вот...

Теперь здесь только колья.  
Я уехал. Дед ушел...  
Ни стола и ни застолья.  
Как-то все нехорошо.  
Ни пчелы и ни избы,  
Только сгнившие столбы...  
Все исчезло, все распалось.  
Год... второй... десятый год...  
А вот старица осталась.  
А вот старица живет!  
Катит волны, не сдается —  
Богунихою зовется.

### 66

Иран Соломин чокнутый. Не очень, но с прибабахом. Работает на молокозаводе ездовым, пахту во флягах возит. Знает: Главмука в полдень первый гудок дает — начало обеда, потом два гудка — конец обеда. Часы после войны были не у каждого, вот Главмука и гудела.

На Алее ко второму отпеску утопленника прибило. Послали Ирана тело в горбольницу перевезти. Везет Иран покойника синенького, мы следом за ним топаем, интересно ведь, и вдруг Главмука — у-у!

— Тпру! — Иран утопленника в бурьян на обочину дороги сбросил, развернул подводу — и домой поехал, на обед.

— Бесстыжий, — орут бабы, — креста на тебе нет! Вези!..

— Не повезу. Начальник сказал: как загудит, бросай все...

С тем и уехал. Пообедал и отвез.

Мишка хвостом крутанул. Мишкина бабка про это узнала и пришла к Мишке Мишку стыдить.

— Ай-я-яй, как не стыдно, от такой жены... — И пошла, и поехала.

Она «ай-яй-яйкает», а кобель Мишкин, Сакэном звать, с цепи чуть не сорвется, осип от лая. Понимает, наверно, что Мишку ругают, вот и обидно ему за хозяина. До хрипоты.

Мишка, на крыльце сидючи, долго слушал какофонию, что с двух сторон на него навалилась, и, ничего не говоря, пошел и снял с кобеля ошейник. Кобель от счастья такого аж с хрипа на визг перешел, но не успел. Бабка в калитку шмыгнула. Порвала бы псина старуху ни за здорово живешь...

Через неделю прихожу к нему, а он:

— Хочешь послушать?

И командует:

— Сакэн! Бабка идет!

Кобель садится около своей конуры, задирает морду к небу и начинает выть.

— Сакэн, бабка ушла.

Сакэн выть прекращает.

Бывший полковник царской армии Захар Моисеевич Родькин живет в памяти моей с самого-самого детства. Сколько я себя помню, столько и его. Человек непонятной судьбы — для меня тогда, да и сейчас, пожалуй, — он появлялся у нас неожиданно-негаданно дня на два-три и исчезал на месяц-полтора в неизвестном направлении. Всегда одет был крайне непритязательно — в любой мороз без перчаток, в железнодорожной фуражке, в офицерской шинели — зимой, в пиджаке и галифе непонятного цвета — летом, а в хромовых сапогах с дутыми голенищами — постоянно. Мне он помнится входящим в нашу хату, а позднее — в избу, из бурана: усы в сосульках, уши красные, огненные просто, кисти рук голые, за голенищами сапог с обеих сторон — роман-газеты, пополам сложенные, воткнуты. Как сейчас помню эти до ужаса некрасивые книжки. Шрифт мелкий, картинок нету, текст в два столбика, на обложке портрет. Привозил он романы постоянно и постоянно оставлял у нас, и была наша хата завалена этими книжками: мама на них кастрюльки и сковородки ставила. Вошел бы любой с улицы да спросил бы:

— Это что ж здесь за грамотеи живут?

Грамотеи не грамотеи, но пыжи из этих романов батя крутил хорошие, а я, кстати, в третьем классе уже «Графа Монте-Кристо» осилил... Этот роман чем меня тогда покорибил. Книга мне нравилась, но имя героя — Дантес. А про Дантеса я уже знал, он в Пушкина стрелял. Долго я этих дантесов в мозгах своих детских друг от друга отсеивал. Отделил...

Занимался дед Захарий (так его все звали: и родители, и соседи, и я) спекуляцией, жизнь свою проводил в поездах, синьку развозил по стране. Товар этот ходовой был. Хаты белили с синькой, белье тоже после стирки подсинивали. И шли к нему бабы со своими рублями да трешками, а дед крутил порошочки из тех же самых романов (тоже дело) — и торговал, и торговал. Порошочек — рупь, порошочек — рупь... Склады-

вал он эти рубли да трешки в пачки, заворачивал их в газету и засовывал опять же за голенища. Синьки на один порошок их шло мало, на кончике ножа. За постой иногда отсыпал этого порошка и маме. И тогда, когда он был в отъезде, синькой торговала мама. Деньги брала себе. Не велик торжок, а не пустой горшок... У нас в то время каждый рубль был на счету. Кстати, я и по сей день эти рубли не очень-то разбрасываю.

Адрес его местожительства — Советский Союз, но отцу он говорил, что прописан в Маралихе. Это где-то в горах. Туда он не ездил или почти не ездил. Хотя ездил, мед-то он оттуда нам для продажи привез. По всей стране в разных городах у него были знакомые, где он и отдыхал от поездов. Почему знаю? Он сам говорил, и в разговорах часто слышалось: Харьков, Киев, Ленинград, Владивосток. Власть не любил. Но не громко. Про себя. Короче, космополит российского разлива. Но главное было то, что был этот дед какой-то очень положительный. Меня к нему просто тянуло. Анекдоты, поговорки, присказки — как из мешка вынимал, кучками и россыпью...

Не жадным был. Пришла однажды соседка к отцу моему денег на корову одолжить, а у отца откуда такие деньги? Ушла ни с чем, а дед и спрашивает:

— А что, Васюха, баба-то хорошая?

— Баба как баба, не вредная...

— Ну так позови.

Позвала соседку, а дед и спрашивает:

— Сколько нужно?

Назвала она цифру, я сейчас и не скажу какую, а дед Захарий вытащил пачку из-за голенища своего пузатого, на ладони прикинул: «Наверно, будет», — и отдал ей.

Но не это запомнилось мне, хотя и это тоже. Запомнились его рассказы о себе, штрихи кой-какие. К портрету, так сказать.

А портрет его таков: рост под два метра, пузо — руками не охватить, усы как у Тараса Бульбы, что на школьной картинке, стрижен наголо, уши большие — в смысле, длинные, нос крючком загнут, во рту ни одного зуба, торец головы в каких-то яминах и буграх, брови густые, вислые, глаза умные и сладкие. Библейские, как на иконе. Национальность? Я думаю (теперь думаю) — еврей. Тогда я об этом не думал. Для меня что еврей было, что конюх — без разницы... Я и сам непонятно кто. Отец хохол, мать из тамбовских крепостных с кровью татарской мешанная. Я — кто? Калбит, наверно... Остромакуший. С острой макушкой, значит...

— ...В революцию, — говорит, — бегал от тех и от тех. Под Омском меня выловили и расстреляли. Раздели догола, убили и в ямку с покойниками свалили. Очнулся — луна светит, рядом покойники пошевеливаются, мышцы у них цепенеют. Три версты полз до села... Выжил. Это меня белые убивали. А красные убили под Харьковом. Те проще, те не раздевали: сепляк с седла свесился — да наганом по голове... Раздробил голову, но ничего, срослось. Живу...

Так вот отчего голова его лысая в буграх да яминах!

— ...В 38 году работал в колхозе бухгалтером. Повез годовой отчет в Барнаул, захватило бураном, сумку с отчетом я и потерял. Добыл в Барнауле бланков чистых и за два дня по памяти весь отчет восстановил... Вот... А в апреле добрые люди нашли сумку в степи где-то и снесли куда

надо. Следователь потом и говорит: «А если бы отчет к врагам попал?..» Мне было смешно, но я не отбрыкивался. Приговорили нормально, но не шибко. Так что я всю войну на Колыме отвоевал...

Однажды пошел на базар и принес баранины килограммов пять.

— Давай, Шура, мяса наварим. — Маму мою он Шурой звал.

Заварили чугунице, вода вскипела, он мясо туда опустил и тут же начал пробовать — уварилось, нет? Вилкой подцепит кусок, ножом чикнет, солью посыплет — и в рот... и в рот... и в рот... Без зубов был! Пока пробовал, все и съел. Мясо съел и юшку выпил...

Продавали раньше на станции в буфете пирожки с ливером. Вкусные! Сколько-то копеек штучка. Дед приехал из очередного путешествия и приволок полсетки пирожков этих. Подает маме:

— Посчитай, Шура, сколько здесь?

Мама посчитала:

— Восемнадцать...

Дед говорит:

— Неужели я семнадцать съел, пока шел?..

Решаю примеры на умножение. Умножаю в столбик — длинно так, в смысле, вертикально. Дед смотрел-смотрел и говорит:

— В школе так учат?

— Да.

— Вот дураки! Смотри, как надо...

Записал друг под другом две пятизначные цифры, провел черту и тут же справа налево, под чертой, записал ответ. Я проверил столбиком — точно!

— Так это вы заранее знали, — и написал ему свои цифры.

Он тут же так же справа налево написал ответ. Я проверил — ух ты!

— А как это?

— Смотри, — говорит. — Эту цифру множим на эту, единицы пишем, десятки в уме, теперь эти десятки умножаем на эти единицы, а эти десятки на эти единицы, потом десятки на десятки, достаем из ума, складываем, десятки пишем, а сотни на ум пошли, потом сотни на единицы, потом на десятки, потом сами на себя, достаем из ума, пишем сотни, тыщи на ум пошли...

Я попробовал — понравилось. Писать много не надо! Лучше, чем в столбик. Все примеры и решил дедовским способом.

Учительница мне поставила кол! Красный и большой, и написала: «Не списывай!»

Я деду кол показал, а он смеется:

— Откуда ей такое знать?..

(Кстати, метод этот я помню, но практики, увы, нет, да и калькуляторы теперь у всех...)

Учился я в школе неплохо (похвалю-ка сам себя еще разок). Очень любил математику, особенно тригонометрию. Тригонометрия — штука особая, в ней надо на три-четыре действия вперед смотреть. Мне такое не всегда, но удавалось. За все это я говорю огромное спасибо учителю моему Валентину Сергеевичу Балицкому, мужу той самой Веры Ивановны, что в ранних классах в третьей школе книжки нам читала на уроках пения. Я об этом выше писал. Как сейчас вижу наш класс, доску и Вален-

тина Сергеевича у доски. Был он всегда подтянутый, в сером костюме, а из нагрудного кармана линейка логарифмическая маленькая высовывалась. Он ею часто пользовался. Пока мы задачку в столбики умножаем, он раз-раз на линейке — и запишет на доске ответ, чтобы мы сверялись... Я был в него влюблен, через эту влюбленность, наверно, и к математике потянулся, но Лобачевским не стал. Так вот, попалась мне по домашнему заданию задачка очень уж заковыристая. Крутил я ее крутил, плел-плел — сплел. С ответом сверил — получилось. Дай-ка, думаю, деда Захария проверю, знает ли он про эти углы. Лукавый меня, видимо, путал...

Дед отложил в сторону очередную роман-газету (читал он всегда!), поправил очки, прочитал задачку и быстро начал писать карандашом прямо на развернутом романе. Мурлычет и пишет. Я ждать не стал, убежал на улицу. Пусть, думаю, попыхтит, уж если я (!) столько мучился...

Прихожу домой вечером, деда уже нету, уехал куда-то (может, во Владивосток), на столе лежит роман-газета испианная. Стал разбираться — четыре варианта, и все короткие, в две, три строки! А было деду в ту пору семьдесят восемь лет.

— ...Витька, брось курить, велосипед куплю.

— Хорошо, — говорю — и начинаю бросать. И так бросаю, и так, уж очень мне свой велосипед иметь хочется.

Дед приедет, а я ему:

— Не курю, давай велик.

Он посмотрит на меня:

— Врешь!

Так и не купил мне велосипед.

Как он узнавал, что я вру?

Отец говорит:

— Вот ты, Захар Моисеевич, пять килограммов баранины спер (читайте, съел), а сколько яиц куриных съест сможешь?

— Штук сто...

— Не верю!

— Давай попробуем, но чур — покупаешь яйца, варишь и чистишь ты, а я только ем.

Отец не рискнул. Вдруг съест, убыток-то какой!

Читаю:

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой.  
В кругу могучих сыновей...

Господи! Слова-то какие, так и тянет говорить вслух. Дед заглядывает через плечо.

— Все еще сказки читаешь?

— Нравится — и читаю...

— Онегина читал?

— Проходили, — говорю. — В школе...

— Начало помнишь?

— Да... Мой дядя самых честных правил...

— Вот, вот... Он уважать себя заставил... Как же он уважать-то себя заставил, что ж он такое сотворил, а?

Я и задумался — а действительно, что же этот дядя такое великое сделал? Думаю-думаю, а дед смеется:

— Учите, читаете, а в толк не берете.

Я долго ходил и никак не мог придумать, что же это такое?.. Дед молчит. Пошел я к учительнице. Посмотрела она на меня — вроде «надо же, дурак дураком...» — и начала объяснять. Говорит, говорит, а я хоть и того — дурак в ее понятии, — но вижу: пусто здесь, как на той доминошной косточке. Покивал головой, покивал — и пошел, не солоно хлебавши...

Дня через два у деда спрашиваю:

— Так что же этот дядя сотворил?

— Какой дядя?

— Ну, этот... уважать себя... Пушкин...

— А — так помер...

Елки-палки!.. Сразу увиделся дядя Троша Анников, который слепой, которого Шуран Орехов за тросточку в магазин водит. Это же мука — со слепым возиться, да еще когда пацаны игру очередную начинают. Конечно, Шуран дядю обязательно зауважает, если уж тот приберется. Еще как!..

## 69

А в десятом классе со мной был вот такой случай. Кто меня надоумил, кто подсказал — не знаю, но только я взял и обрился наголо. Под деда Захария! Чтобы волосы гуще росли. Пошел в парикмахерскую и... под бритву. Класс ахнул. Все парни с чубами, с коконами, а я лысый. Потыкали в меня ребята пальцами, лысину пощупали, погоготали и успокоились вроде. Однако нет. Глядя на меня, еще трое ребят дней через несколько обрились. Тоже за густыми волосами потянулись, наслушались моих сказок, мол, волосы будут не прочесать. Двоих лысых не помню, а Витька Белолицкого как сейчас вижу. Сидели мы с ним на соседних партах. Такой был математик! Умница! И по школе покатился слух, что мы, которые лысые, готовимся стать стилиягами. Будем, дескать, отращивать на своих обритых головах что-то несуразное, чего даже и представить нельзя. А стилияги — это же для школы позор. Еще какой! О-о-о... Роно, горно... С ума сойти! Ну и меня как самого главного в этой затее прямо с урока вызывают к директору школы в кабинет. На ковер! А директором школы №1 был Иван Семенович Сердюк. Фамилия-то какая — Сердюк. Слышите! От одной фамилии трепет по телу идет. Лично на меня он наводил страх. Во-первых, у него не было ног. До выше колен. По коридору он не ходил — шуршал. Шир-шир, шир-шир... Шажки маленькие-маленькие. Остатки ног всего сантиметров по тридцать, отсюда и шажки коротенькие. Обувка на нем была из войлока, обшитого кожей, неслышная. А во-вторых (это то же, что и во-первых) — рост его! Без ног же. Малышня бегаёт, а он когда среди этой мелюзги пробирается на перемене из класса в учительскую, то совсем не замечен. Можно, между делом, и по голове стукнуть, как какого-нибудь первоклассника. Под стать фамилии он и лицом был суров.

Так вот, вызывают, значит. Куда я денусь? Иду... Ноги гнутся плохо, штаны уже почти насквозь мокрые. Иван Семенович в кабинете восседает за столом и грозно так:

— Стилиягой хочешь стать? Зачем обрился наголо?

Это сейчас школьники безбашенные, а мы в то время были с клеймами пугливости, что перешли к нам (на генном уровне?) от пап и мам, по-

знавших революцию, коллективизацию, раскулачивание, нарымы, победы и еще черт знает что — и я, заикаясь и пританцовывая, поведал, что хочу, чтобы волосы на голове росли гуще.

— Волосы? Ну-ну... Ты помнишь, как тебя в эту школу принимали?

Я кивнул своей лысой головой, мол, а как же...

— Иди и смотри не вздумай чего такого вытворить.

Не помню, клялся ли я в чем, божился ли, но в класс вернулся героем. Штаны мои просохли, все на меня поглядывали уважительно. Еще бы! У самого Сердюка на ковре был и жив остался.

## 70

Отец притчу рассказывает, а может — былль.

— Умирает мужик... Ну, умирает, а хозяйство держал крепкое. Призывает сына и говорит: «Так, мол, и так, умираю вот, хозяйство тебе наказываю, так что владей, твое все это...» Ага... Сын молчит. Он его и спрашивает: «Не нравится хозяином быть, что ль?» — «Дак нравится, — говорит сын. — Только удержу ли в руках?» А батька ему и говорит: «Блюда, говорит, две заповеди и удержишь». Ну и говорит эти заповеди: на работу, мол, ходи только в хорошей одежде — это раз; а вторая заповедь такая — как на работу идешь, то ни с кем не здоровкайся... И умер, значит.

Вот сын и начал хозяйство удерживать. Через год нищим стал. А как же? Что ни день, то новые сапоги, спит, язвы его, до полдня — люди уже с полей едут, а он — в поле. Дак и не здороваются ни с кем... Вот дурак-то...

И спрашивает меня:

— Понятно говорю?

— Да понял немного...

— И то ладно.

## 71

Еще одну притчу рассказывает.

Было у хозяина два работника. Ну, скажем, Иван и Андрей. Андрей и говорит хозяину:

— Как это получается, хозяин, мы с Иваном работаем на равных, а денег вы ему платите больше?

— На равных, говоришь? А давай посмотрим... Видишь, во-он по илбану обоз едет, возьми-ка коня да сгоняй — чей обоз-то?

Андрей на коня да в намет. Возвращается и докладывает: так и так, мол, узнал: купца Камышникова обоз... Был в наших краях такой, из-под гор...

— Че везет?

Андрей плечами пожимает.

— Так слетай и узнай.

Слетал Андрей.

— Зерно везет.

— Торговать будет аль молоть?

Андрей опять на коня...

Коня загонял, а конца не видно. Устал хозяин и говорит:

— А теперь пусть Иван сгоняет.

А Иван об этих делах не знает, игра идет честная — на равных так на равных. Прискакал Иван и докладывает: «Так, мол, и так, Камышников

триста пудов белотурки везет, торговать в Чистюньке будет. Зерно хорошее, хозяин, я смотрел».

— А цена?

— Бросовая. По пятаку за пуд просить будет.

— Так и завернул бы обоз сюда.

— А я и завернул.

А обоз уже к воротам подъезжает...

И опять отец меня спрашивает:

— Уразумел?

— Да, — говорю.

— Ладно.

## 72

А еще вспоминается такое. На уржумском тракте, где-то перед Уржумом, километров за десять, добрые люди среди степи туалет выгребной поставили. С чего бы вдруг? Дорога, дорога — и вдруг будка деревянная. Чтобы остановка автобусная, так нет, вроде не остановка. А потом около этой будки машины проезжающие останавливаться стали. А потом и автобусы. А потом в ожидании автобусов шустрые люди костры стали разводить около будки, но кругом степь же, дров нет. Заднюю стенку этой уборной и разобрали на дрова. Откроешь дверь, если — вдруг надо если, — а перед тобой пол загаженный с дыркой посредине и степь во всю свою ширину до самого до горизонта. И смешно, и обидно. Зачем эта сарайка, когда в степи лучше — и ветерок, и солнце, и вообще...

Будка и месяц не простояла. В июне проезжали на рыбалку — была, а в августе уже и следов не осталось. Если вещь не нужна, что ее беречь-то? Разломать и сжечь — самое то.

## 73

Застолье — экспромт. Как всегда — ни вилок, ни ложек, ни закуски путной. Рядом со мной сидит не то Римма, не то Рита... Может, Рая?.. Пила-пила, окривела и говорит:

— А почему у вас рюмка меньше моей?

— Ну и что? Зато я по половинке пью.

— Странно, — говорит. — А почему я такая пьяная?..

Чудеса твои, Господи! Рвал грибы, оказалось — баба...

## 74

Петрович рассказывает:

— Еду по Питеру, а уже поздненько. Московский проспект пустой, только светофоры желтым подмигивают. Притопил я газ и поливаю на «Волге». Не шибко так, но под восемьдесят иду. Нарушаю... Никого же. Вдруг гаишник — откуда взялся? — отмахну мне дает, к обочине, значит. Я торможу, все путем, он подходит и козыряет:

— Сержант такой-то.

Я в ответ: водитель такой-то — и права ему подаю.

Он:

— Только честно, с какой скоростью ехали?

Я:

— Честно — под восемьдесят.

Он мне в талоне компостером дырку — щелк! — и улыбается. Каков?! Прикупил меня, радара-то у него не было, на понт взял, под порядочного косил, а я и повелся. Ну, я беру права у него, талон свой продырявленный разглядываю и так спокойно:

— Дурень, — говорю. — Я понимаю, что работа у тебя плохая, но это же не повод, чтобы вот так, гаденько...

## 75

Воскресенье. Десять часов утра. Жена встает, умывается, слышу голос:

— Витя, а куда колбаса подевалась?

— Съел, — говорю. Негромко так.

Гробовая тишина. Потом — шлеп, шлеп — заходит ко мне в комнату.

— Здрасьте, как это — съел?

— Просто, — говорю. — Резал и ел, резал и ел... Здрасьте...

— Копченую палку?.. В один присест?

О боже! Ну кто сказал, что в один присест? Ел я эту колбасу с пяти часов утра, как сел к столу. Посижу, попишу, пойду на кухню и съем кусок без хлеба. И еще, и еще... За пять часов сколько ж съесть можно?

## 76

Тимофея Дробинина жена на юга зовет — поедем да поедем, пацанов покупаем в море, сами позагораем, то-се... Уговорила.

Тимофей «Волгу» свою двадцать первую в прицеп запряг, детишек на заднее место пристроил, жену на место штурмана усадил и сверху вниз — если по карте смотреть, из Питера в Сочи — ха! — и примчался.

Расквартировались, все ладом, утром вышли на пляж: солнце, море, люди... Бляха-муха! Два часа прошло, Тимофей и говорит жене:

— Э! Ну, належался, накупался, что еще делать-то?

— Как что, Тим? Так и будем целый месяц купаться и загорать.

Тимофей присвистнул:

— Ничего себе! Дома столько забот, а тут валяйся с боку на бок!

Пару дней еще осилил, а больше не смог; сел в «Волгу» и без прицепа уже — приеду за вами и заберу — снизу вверх (по той же карте) — ха! — в обратный Питер: «Столько, понимаешь ли, делов, а тут...»

На этом я ставлю точку. Пока ставлю.

Дорогой читатель!

Я жив, пока здоров, и мне кажется, что в добавление к этим «мелочам» я что-то еще да напишу. «Незабываемые мелочи» — это не совсем чтобы автобиография, здесь и художественные домыслы присутствуют, потому что я не помню точных дат, не помню некоторые детали, я ведь дневников не вел, и то, о чем написал, я брал из памяти. Когда-то давно, когда я был юн и только-только начинал пробовать слова на вкус, мне мой первый учитель Яков Соломонович Липкович после знакомства с моими опусами сказал: «Ты будешь писать, это чувствуется по твоему перу, но скажи — о чем ты хочешь писать?» И добавил: «В Библии уже сказано обо всем. Если будешь писать, то, обрабатывая все художественно, пиши о себе». Я этот совет запомнил на всю жизнь.